

# ПАВЕЛ АННЕНКОВ

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ  
ПУШКИНА. ЛУЧШАЯ  
БИОГРАФИЯ ПОЭТА

Павел Анненков

**Жизнь и труды Пушкина.  
Лучшая биография поэта**

«Public Domain»

1873

## **Анненков П. В.**

Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта /  
П. В. Анненков — «Public Domain», 1873

Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел в науке о Пушкине. Без лукавства и доммысливания, без помпезности и прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей русской культуры. Для тех, кто делает первые шаги в изучении пушкинского наследия, книга П. В. Анненкова станет надежной опорой. Для тех же, кто давно и усердно интересуется жизнью и творчеством Пушкина, – золотым стандартом, с которым сверять свои достижения и лестно, и бесполезно.

© Анненков П. В., 1873

© Public Domain, 1873

## Содержание

Глава I[1]	6
Глава II	12
Глава III	30
Глава IV	42
Глава V	46
Глава VI	52
Глава VII	59
Глава VIII	62
Глава IX	73
Глава X	78
Конец ознакомительного фрагмента.	82

**Павел Анненков**  
**Жизнь и труды Пушкина.**  
**Лучшая биография поэта**

© Издание, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Глава I<sup>1</sup>

### Предки и родственники. Эпоха рождения. 799–1811 гг.

*Боярин Пушкин, Ганнибалы. – Отец и мать. – Няня Арина Родионовна. – Стихотворение «Подруга дней моих суровых...». – Захарово. Вязёмо. – Стихотворение «Мне видится мое селенье...». – Характер отца, С. Л. Пушкина. – Дядя В. Л. Пушкин. – Пьеса «Путешествие В. Л. Пушкина» и И. И. Дмитриев.*

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве, в 1799 году, 26 мая, в четверг, в день Вознесения Господня, на Молчановке.

Мать его, как известно, была из фамилии Ганнибалов. Общие черты родословной Пушкиных и Ганнибалов переданы были самим Александром Сергеевичем в его «Записках». К ним можно только прибавить несколько заметок. Из всех своих предков, Пушкиных, Александр Сергеевич особенно уважал боярина Григория Гавриловича Пушкина, служившего при царе Алексее Михайловиче послом в Польшу, с титулом Нижегородского наместника, и скончавшегося в 1656 году. Александр Сергеевич происходил от него по прямой линии и в честь его дал меньшому своему сыну имя Григория. Из предков своих, Ганнибалов, А. С. Пушкин часто упоминает о родоначальнике этой фамилии, негре Абраме Петровиче. Мы увидим также, что Пушкин посвятил несколько превосходных лирических строф памяти его знаменитого сына, генерал-поручика Ивана Абрамовича Ганнибала, славного основанием Херсона, где ему воздвигнут памятник, и первою Наваринской битвой, в которой он был участником и героем. Этот Ганнибал, умерший в С.-Петербурге в начале нынешнего столетия, играл важную роль в своем семействе. Он был благодетелем бабушки Александра Сергеевича, Марьи Алексеевны Ганнибал, урожденной Пушкиной, в ту тяжелую и романтическую эпоху ее жизни, когда муж ее, Осип Абрамович Ганнибал еще при жизни ее женился на Устинье Ермолаевне Т[олст]ой, подделав фальшивое свидетельство о смерти законной жены своей<sup>2</sup>. Марья Алексеевна нашла себе защитника в брате своего мужа, Иване Абрамовиче. Его влиянием расторгнут был незаконный брак, отдана ей малолетняя дочь, Надежда Осиповна, мать нашего поэта, и предоставлено во владение одно из родовых сел мужа – Кобрин<sup>3</sup>, в 60 верстах от Петербурга. То самое село Михайловское, где и Александр Сергеевич провел два года уединенной жизни, назначено было постоянным местопребыванием его деду – Осипу Абрамовичу. Он умер там в 1806 году. Смерть соединила враждующих супругов на кладбище Святогорского Успенского монастыря, лежащего неподалеку от Михайловского, где также похоронен, как известно, и внук их. По близкому соседству с Петербургом, Марья Алексеевна Ганнибал, вместе с дочерью своей, часто

---

<sup>1</sup> Материалы, представляемые теперь публике, преимущественно извлечены из бумаг поэта, а за сообщение некоторых подробностей о жизни его, которые вообще так трудно добываются у нас, приносим здесь искреннюю благодарность родственникам, друзьям и знакомым поэта, благоволившим передать нам свои воспоминания. При самом начале труда нашего покойный Лев Сергеевич Пушкин, Н. И. Павлищев и покойный Павел Александрович Катенин составили для настоящего издания и по нашей просьбе три записки; первый о жизни поэта до приезда его в Москву в 1826 г., второй о детстве Пушкина (со слов родной сестры его О. С. Павлищевой), третий вообще о своем знакомстве с ним. Записки эти, писанные собственной рукой авторов, находятся у составителя материалов, и многочисленные отрывки из них приведены им в тексте. Две из этих записок отчасти уже знакомы читателям: первая была опубликована вполне, а вторая в отрывках, вероятно с копий, предоставленных авторами лицам, сообщившим их публике.

<sup>2</sup> Показание это, взятое из записки, сообщенной нам сестрой поэта через посредство супруга ее Н. И. Павлищева, противоречит со статьей о детстве Пушкина, напечатанной в журнале «Москвитянин» (1852, № 24), где сказано было, что Осип Абрамович только намеревался жениться на Устинье Ермолаевне.

<sup>3</sup> Оба брата, Осип и Иван Абрамовичи, были соседи по деревням. Поместье второго, Суйды, находилось только в 5 верстах от Кобрин, где тогда числилось 100 душ. Третий брат, Петр Абрамович, переживший всех их и умерший с лишком девяноста лет от роду, уже был лично известен Пушкину, как увидим ниже.

посещала столицу. Отец поэта, Сергей Львович, служил тогда в Измайловском полку. Свадьба его и Надежды Осиповны, вероятно, происходила в Петербурге, потому что первенец их – дочь Ольга Сергеевна – родилась в 1798 году именно в то время, как Сергей Львович состоял еще на службе в Петербурге. Благодетель семьи и опекун Надежды Осиповны, генерал-поручик Иван Абрамович Ганнибал был тогда воспитателем младенца. Он еще дожил до рождения Александра Сергеевича (смерть этого знаменитого моряка относится к 1800 году), но уже не видел его. В 1798 году Сергей Львович вышел в отставку; в следующем, 1799-м, Марья Алексеевна продала село Кобринно, и все семейство Пушкиных переехало в Москву, где на деньги, вырученные от продажи имения, Марья Алексеевна приобрела сельцо Захарьино, верстах в сорока от Москвы. 26 мая, как мы сказали, родился там поэт наш, и воспитателем его был граф Артемий Иванович Воронцов. При продаже петербургского имения общая няня всех молодых Пушкиных, знаменитая Арина Родионовна, записанная по Кобрину, получила отпускную вместе с двумя сыновьями и двумя дочерьми, но никак не хотела воспользоваться вольной. При продаже (1811 год) Захарьино, или Захарова, как называл его просто сам Александр Сергеевич, она отклонила предложение выкупить семейство одной из дочерей своих, Марьи, вышедшей замуж за крестьянина в Захарове, сказав: «Я сама была крестьянка, на что вольная!» Приставленная сперва к сестре поэта, потом к нему и, наконец, к брату его, Родионовна вынянчила все новое поколение этой семьи. В каких трогательных отношениях с нею находился второй из ее питомцев, прославивший ее имя на Руси, – известно всякому.

Родионовна принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью оставило в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам. Это объясняется еще и другим важным достоинством Арины Родионовны: весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями ее, которые, однако ж, как это вскоре увидим, были заметно ослаблены последующим воспитанием.

В числе писем к Пушкину, почти от всех знаменитостей русского общества, находятся и записки от старой няни, которые он берег наравне с первыми. Вот что писала она около 1826 года. Мысль и самая форма мысли, видимо, принадлежат Арине Родионовне, хотя она и позаимствовала руку для их изложения.

«Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна – вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда засну, забуду вас. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское – всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и молить бога, чтобы он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшко Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила – *поживи, дружочек, хорошенько*, – самому слубится. Я, слава богу, здорова – целую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна (Тригорское, марта 6)». Каким чудным ответом на это письмо служит неизданный отрывок Пушкина, который мы здесь приводим:

Подруга дней моих суровых,  
Голубка дряхлая моя!  
Одна в глуши лесов сосновых  
Давно, давно ты ждешь меня.  
Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,  
И медлят поминутно спицы  
В твоих наморщенных руках.  
Глядишь в забытые ворота  
На черный, отдаленный путь:  
Тоска, предчувствие, заботы  
Теснят твою всечасно грудь.  
То чудится тебе...

Почтенная старушка умерла в 1828 году, 70 лет, в доме питомицы своей, Ольги Сергеевны Павлицевой.

Другим путем к раннему сближению с народными обычаями и приемами могло служить само сельцо Захарово, проданное в 1811 году, когда молодой Пушкин увезен был в С.-Петербург для определения в лицей. Семейство его, постоянно жившее в Москве с 1798 года, проводило лето в новой деревне Марьи Алексеевны. Зажиточные крестьяне Захарова не боялись веселиться; песни, хороводы и пляски пелись и плясались там часто. В двух верстах от Захарова находится богатое село Вязёмо. По неимению церкви, жители Захарова считаются прихожанами села Вязёмо, где похоронен брат Пушкина, Николай, умерший в 1807 году (род. в 1802 г.), и куда Александр Сергеевич сам часто ездил к обедне. Село Вязёмо принадлежало Борису Годунову и сохраняет доселе память о нем. Там указывают еще на пруды, будто бы вырытые по его повелению, и на церковную колокольню, им построенную. Вероятно, молодому Пушкину часто говорили о прежнем царе – владельце села. Таким образом, мы встречаемся, еще в детстве Пушкина, с предметами, которые впоследствии оживлены были его гением. Пушкин вспоминал о Захарове на скамьях лицея и в одном из многочисленных легких посланий, там написанных, говорит:

Мне видится мое селенье,  
Мое Захарово; оно  
С заборами, в реке волнистой,  
С мостом и рощею тенистой,  
Зерцалом вод отражено.  
На холме домик мой; с балкона  
Могу сойти в веселый сад,  
Где вместе Флера и Помона  
Цветы с плодами мне дарят,  
Где старых кленов темный ряд  
Возносится до небосклона,  
И глухо тополи шумят.

*(Неизданное стихотворение)*

Гораздо позднее, в 1831 году, перед женитьбою своей, Александр Сергеевич побывал в Захарове и, покуда Марья, дочь няни его, готовила ему сельский завтрак из яичницы, он обежал рощицу возле дома и все места, напоминавшие ему детство его. «Все наше рушилось, Марья, – сказал он по возвращении, – все поломали, все заросло...» Через два часа он уехал. Действительно, флигель, где жили дети прежнего помещика, уже был тогда за ветхостью разобран, и оставался один большой дом. Многие березки на берегу пруда порублены. Впрочем, еще недавно один путешественник<sup>4</sup> видел там старую липу Пушкина; с этого пункта можно

---

<sup>4</sup> Г. Макаров. – См. «Москвитянин» 1851 года, № № 9 и 10 – Ошибка Анненкова: автором статьи, которую он имеет в

было наслаждаться прекрасным видом на пруд и на противоположный берег его, покрытый зеленым еловым лесом. Здесь кстати будет упомянуть, что все русские надписи на деревьях Захарова принадлежат старым или новым гостям его, но совсем не Александру Пушкину, по весьма простой причине: в ранней молодости он писал одни французские стихи, по примеру своего родителя и по духу самого воспитания.

Отец его, Сергей Львович Пушкин, был человек от природы добрый, но вспыльчивый. При малейшей жалобе губернаторов или гувернанток он сердился, выходил из себя, но гнев его проистекал от врожденного отвращения ко всему, что нарушало его спокойствие, и скоро проходил. Вообще, Сергей Львович не любил заниматься серьезными делами по дому, воспитанию и хозяйству, предоставив все это супруге своей, Надежде Осиповне; никогда не бывал он в дальних своих деревнях, как, например, в Болдине (Нижегородской губернии), предоставив имение в полное распоряжение управляющему, своему крепостному человеку, и отдавал все свое время только удовольствиям общества и наслаждениям городской жизни.

Некоторые черты врожденной его беспечности сохранены в семействе и переданы нам Н. И. Павлицевым. Записанный с малолетства в Измайловский полк, Сергей Львович был переведен потом, при государе Павле Петровиче, в гвардейский Егерский. Сергей Львович не мог отстать в службе от некоторых привычек, к числу которых принадлежала привычка сидеть у камелька с приятелями и мешать в нем огонь, причем раз Сергей Львович употребил на это собственную свою офицерскую трость и с ней же явился потом к должности. Начальник, заметив обгорелую трость, подошел к нему и сказал: «Уж вам бы, г. поручик, лучше явиться с кочергою на ученье!» Огорченный Сергей Львович жаловался потом супруге своей на тяжесть военной службы. Между прочим, он питал какое-то отвращение к перчаткам и почти всегда терял их или забывал дома; будучи однажды приглашен с другими товарищами своими на бал к высочайшему двору, он, по обыкновению, не позаботился об этой части своего туалета и оробел порядком, когда государь Павел Петрович, подойдя к нему, изволил спросить по-французски: «Отчего вы не танцуете?» – «Я потерял перчатки, ваше величество», – отвечал в смущении молодой офицер. Государь поспешно снял перчатки с своих собственных рук и, подавая их, сказал с улыбкой: «Вот вам мои!» – потом взял его под руку с ободрительным видом и, подводя к даме, прибавил: «А вот вам и дама!»

Оставив военную службу в 1798 году, Сергей Львович переселился в Москву и жил долгое время близ Немецкой слободы, у самой Яузы, не переходя моста. После Отечественной кампании он снова определился на службу и в 1814 г. начальствовал комиссариатскою комиссией Резервной армии в Варшаве. Г-н Б(ологовский), назначенный на его место, рассказывал, что, принимая от него сложную должность, он застал Сергея Львовича в присутственном месте за французским романом вместо счетов и бумаг. Сергей Львович вышел в отставку с чином V класса.

С другой стороны, Сергей Львович, как и брат его, поэт Василий Львович, были душою общества, неистощимы в каламбурах, острогах и тонких шутках. Он любил многолюдные собрания, а брат его даже славился по Москве своим поваром, Власием, которого он называл Blaise и который в первую холеру умер в Охотном ряду, торговцем. Связи Сергея Львовича были довольно обширны. Через Пушкиных он был в родстве со всею этою фамилиею, а через Ганнибаловых с Ржевскими и их свойственниками – Бутурлиными, Черкасскими и проч. Он даже жил дом об дом с графом Дмитрием Петровичем Бутурлиным, и гости последнего были его гостями. В числе посетителей его были Карамзин, Батюшков, Дмитриев, и молодой Пушкин, который всегда внимательно прислушивался к их суждениям и разговорам, знал корифеев нашей словесности не по одним произведениям их, но и по живому слову, выражающему характер человека и западающему часто в юный ум невольно и неизгладимо.

---

виду, был Н. В. Берг (Н. Б. Сельцо Захарово. – Мс, 1851, № 9 и 10, с. 29–39).

Вместе со всем лучшим обществом Москвы дом Сергея Львовича, как все избранные дома тогдашнего времени, был открыт для французских эмигрантов: новое средство развлечения, которого все искали. Между этими эмигрантами отличалось лицо графа Ксавье де Местра. Он уже напечатал тогда свое «*Voyage autour de ma chambre*»<sup>5</sup> и, в промежутках между литературными занятиями, любил посвящать свои досуги портретной живописи и откровенной беседе с друзьями. Портрет матери Пушкина, Надежды Осиповны, работы Местра находился долгое время у Льва Сергеевича Пушкина. Сам Сергей Львович был известен как остряк и человек необыкновенно находчивый в разговорах. Владея в совершенстве французским языком, он писал на нем стихи так легко, как француз, и дорожил этою способностью. Много альбомов, вероятно, сохранили его произведения; и есть слухи, что в это время он написал даже целую книжку, в которой рассуждал по-французски – стихами и прозой – о современной ему русской литературе. Чрезвычайно любезный в обществе, он торжествовал особенно в салонных играх, требующих беглости ума и остроты, и был необходимым человеком при устройстве праздников, собраний и особенно домашних театров, на которых как он, так и брат Василий Львович отличались искусством игры и декламации<sup>6</sup>. В обществе Сергея Львовича находились также и две известные пианистки, блиставшие вместе с тем и талантом остроумной беседы: девица Першон де Муши и г-жа Шимановская. Первая вышла замуж за Фильда, вторая впоследствии сделалась тещей поэта М[ицкеви]ча.

Памятником веселости, оживлявшей это общество, осталась даже печатная книжка. Известно, что когда дядя нашего поэта, Василий Львович Пушкин, собирался ехать за границу, то И. И. Дмитриев предупредил, так сказать, весь будущий рассказ путешественника в стихотворной шутке под названием «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия». Книжка эта, напечатанная только для друзей, в нескольких экземплярах, сделалась теперь библиографическою редкостью. Шутка И. И. Дмитриева особенно поражает соединением веселости, меткости и вместе благородства, что очень редко встречаем в наших печатных произведениях этого рода. За три дня до отъезда своего за границу Василий Львович обещал, на дружеском ужине, верно передать свои впечатления приятелям. И. И. Дмитриев возразил, что письма его всегда будут драгоценны для них, но что содержание корреспонденции почти уже известно. В подтверждение своих слов он сочинил «Путешествие», к которому приложил еще картинку, изображавшую будущего туриста в Париже, за уроком декламации у Тальмы. Чрезвычайно остроумно и верно изображен там автор «Опасного соседа», с его жаждой новостей, слепым поклонением иностранным диковинкам, усвоением всех возможных мод и вместе неизменным добродушием и прямою сердцем. Вот начало этой книжки, которая может дать понятие о всем ее тоне:

Друзья! сестрицы! я в Париже,  
Я начал жить, а не дышать!  
Садитесь вы друг к другу ближе  
Мой маленький журнал читать.  
Я был в Музее, в Пантеоне,  
У Бонапарте на поклоне,  
Стоял близехонько к нему,

---

<sup>5</sup> «Путешествие по моей комнате» (фр.).

<sup>6</sup> Н. И. Павлищев передал нам несколько образчиков его находчивости. «*Quelle ressemblance ya-t-il entre le soleil et vous, m-r Pouchkine?*» («В чем сходство между солнцем и вами, г-н Пушкин?») – спросили его раз. «*C'est qu'on ne saurait fixer l'un et l'autre sans faire la grimace*» («В том, что нельзя без гримасы разглядывать нас обоих»), – отвечал он тотчас же. Многие из его возражений имели большой успех в обществе, как, напр., ответ дородной польской даме, спрашивавшей его: «*Est-ce vrai, m-r Pouchkine, que vous autres Russes, vous êtes des antropophages: vous mangez de Tours?*» («Правда ли, г-н Пушкин, что вы, русские, – антропофаги: вы едите медведей?») – «*Non, m-me, – отвечал он, – nous mangeons de la vache, comma vous'*» («Нет, сударыня, мы едим коров, вроде вас») и проч.

Не веря счастьем своему.  
Вчера меня князь Долгоруков  
Представил милой Рекамье,  
Я видел корпус мамелюков,  
Сиеса, Вестриса, Мерсье...<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Вот как А. С. Пушкин отзывался в 1834 году об этом малоизвестном произведении И. И. Дмитриева. Выписываем из его тетрадей: *«Путешествие etc. Картинка изображает etc.»*. Эта книжка никогда не была в продаже. Несколько экземпляров розданы были приятелям автора, от которого имел я счастье получить и свой – чуть ли не последний. Я храню его как памятник благосклонности, для меня драгоценной. «Путешествие etc.» есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора. Покойный В. Л. П. отправился в Париж, и его младенческий восторг подал повод к сочинению маленькой поэмы, в которой с удивительною точностью изображен весь В. Л. Это образец игривой легкости и живой шутки. Искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души, и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в ювенальском негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа. Винават: я бы отдал все, что было написано у нас в подражание лорду Байрону, за следующие [не] задумчивые и невесторженные стихи, в которых поэт заставляет героя своего восклицать к друзьям: ...». Стихи не были приложены к отзыву Пушкина.

## Глава II

### Лицей. 1811–1817 гг.

*Детство и первое воспитание. – Страсть к чтению. – Домашний театр и французские стихи. – Лицей. – Кошанский, лицейские журналы, Дельвиг. – Рассказы. – План автобиографии. – Отрывок из лицейских записок. – Куплеты на Шаховского: «Вчера в торжественном венчанье...». – Роман «Фатеша». – Куплеты на учителей: «Скажите мне шастицы...». – Первый опыт литературного характера по поводу Иконникова. – Конец записок. – Разбор лицейских стихотворений. – Подражание Батюшкову, первые печатные стихи «К другу стихотворцу». – Владимир Измайлов и лицейские поэты вообще. – Журналы, где помещались их произведения. – Лицейские стихотворения Пушкина в издании 1826 года. – Об изданиях его стихотворений 1826–1829 годов. Стихи Пушкина в альманахе В. Федорова. – Стихи Пушкина в альманахе М. Бестужева-Рюмина. – Толки и надежды современников; Дмитриев, гр. Хвостов, В. Пушкин. – Легкость в сочинении стихов, проблески таланта в первых опытах. – Значение лицейских стихотворений. – Характер юношеских произведений Пушкина, подражания, влияние Батюшкова. – Значение элегий 1816 года и развитие таланта к 1817 году. – Неизданные отрывки из «Онегина» о лицее (две первые строфы из 8-й главы). – Стихотворение «Наперница волшебной старины...». – Выпуск из лицея. – Физическая организация поэта и его гимнастические упражнения.*

Воспитание детей в семье Пушкиных ничем не отличалось от общепринятой тогда системы. Как во всех хороших домах того времени, им наняли гувернанток, учителей и подчинили их совершенно этим воспитателям с разных концов света.

До семилетнего возраста Александр Сергеевич Пушкин не предвещал ничего особенного; напротив, своей неповоротливостью, своей тучностью, робостью и отвращением к движению он приводил в отчаяние Надежду Осиповну, женщину умную, прекрасную собой, страстную к удовольствиям и рассеяниям общества, как и все окружающие ее, но имевшую в характере те черты, которые заставляют детей повиноваться и вернее действуют на них, чем мгновенный гнев и вспышки. Впрочем, она не могла скрыть предпочтительной любви сперва к дочери, а потом к меньшому сыну, да и на самое воспитание детей, кроме ее, гувернеров и гувернанток, имели влияние еще и две тетки Александра Сергеевича – Анна Львовна Пушкина и Елизавета Львовна, по мужу Солнцева. Анна Львовна собирала в доме своем часто всех родных и умела вселять искренние привязанности к себе.

Муж Елизаветы Львовны, Матвей Михайлович Солнцев, был искренним другом Сергея Львовича, с которым мог состязаться в любезности, тонких шутках и французских каламбурах. Правильной системы воспитания тут уже не могло быть, и если существовало какое-либо единство, то разве в общем недоверии к характеру и способности молодого Александра Пушкина. Это обстоятельство, однако ж, имело впоследствии благодетельное влияние на последнего. Не избалованный в детстве излишними угождениями, он легко переносил лишения и рано привык к мысли – искать опоры в самом себе. Надежда Осиповна заставляла маленького Пушкина бегать и играть со сверстниками, с трудом побеждая и леность его, и молчаливость. Раз на прогулке он, не замеченный никем, отстал от общества и преспокойно уселся посреди улицы. Сидел он так до тех пор, пока не заметил, что из одного дома кто-то смотрит на него и смеется. «Ну, нечего скалить зубы!» – сказал он с досадой и отправился домой. Когда настойчивые требования быть поживее превосходили меру терпения ребенка, он убегал к бабушке, Марье Алексеевне Ганнибал, залезал в ее корзинку и долго смотрел на ее работу. В этом убежище уже никто не тревожил его. Марья Алексеевна была женщина замечательная, столько же

по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи. К несчастью, мы не могли отыскать ни малейшего образчика того безыскусственного и мужественного выражения, которым отличались ее письма и разговоры. Вторым русским учителем Пушкина, несколько позднее, был, по странному случаю, некто г-н *Шиллер*. Впрочем, труды г-на Шиллера не могли принести особенных плодов в это время, потому что маленький Пушкин и сестра его, воспитывавшиеся вместе, говорили, писали и твердили уроки из всех предметов по-французски.

Главным руководителем детей был сперва граф Монфор, образованный эмигрант, бывший в то же время музыкантом и живописцем; за ним г-н Русло, писавший французские стихи; потом г-н Шедель и другие. Настоящим, дельным наставником в русском языке, арифметике и в законе божием был у них почтенный священник Мариинского института Александр Иванович Беликов, известный своими проповедями и изданием «Духа Массильона» (1808). Когда наняли англичанку (мисс Белли) для Ольги Сергеевны, Пушкин учился по-английски, но плохо, а по-немецки и вовсе не учился. Была у них гувернантка немка, да и та почти никогда не говорила на своем родном языке. Вообще ученье подвигалось медленно.

Возлагая все свои надежды на память, молодой Пушкин повторял уроки за сестрой, когда ее спрашивали; ничего не знал, когда начинали экзамен с него; заливался слезами над четырьмя правилами арифметики, которую вообще плохо понимал. Особенно деление, говорят, стоило ему многих слез и трудов.

Но с девятого года начала развиваться у него страсть к чтению, которая и не покидала его во всю жизнь. Он прочел, как водится, сперва Плутарха, потом «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе, потом приступил к библиотеке своего отца, которая наполнена была французскими классиками XVII века и произведениями философов последующего столетия. Сергей Львович поддерживал в детях это расположение к чтению и вместе с ними читывал избранные сочинения. Говорят, он особенно мастерски передавал Мольера, которого знал почти наизусть, но еще и этого было недостаточно для Александра Пушкина. Он проводил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет отца и без разбора *пожирал* все книги, попадавшиеся ему под руку. Вот почему замечание Льва Сергеевича, что на 11-м году, при необычайной памяти своей, Пушкин уже знал наизусть всю французскую литературу, может быть принято с некоторым недоверием.

Первые попытки авторства, вообще рано проявляющиеся у детей, пристрастившихся к чтению, обнаружились у Пушкина, разумеется, на французском языке, и отзывались влиянием знаменитого комического писателя Франции. Пушкин любил импровизировать комедийки и, по общему согласию с сестрой, устроил нечто вроде театра, где автором и актером был брат, а публикой – сестра. Раз как-то публика освистала его пьесу «L'Escamoteur».<sup>8</sup> Автор отделался от оскорбления эпиграммой, сохранившейся доселе в памяти тогдашнего судьи:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteurce  
Est-il sifflé par le parterre?  
Hélas – c'est que la pauvre auteur  
L'escamota de Molière<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> «Похититель» (фр.).

<sup>9</sup> «Скажи, за что партер освистал моего «Похитителя»? Увы! за то, что бедный автор похитил его у Мольера». За эти драгоценные подробности мы еще раз повторяем благодарность нашу Ольге Сергеевне Павлицевой, и особенно теперь, когда указания ее почти уже все исчерпаны нами. Сделаем одно замечание. Нельзя ручаться, чтобы стихи, приводимые здесь, не были невольно изменены и отчасти исправлены при передаче их после столь долгого времени.

Стишки гладенькие и легкие. Они были предшественниками таких же русских стихов, которые Пушкин начал писать уже в лицее. Авторство шло параллельно с его чтением. Ознакомившись с Лафонтеном, Пушкин стал писать басни. Начитавшись «Генриады», он задумал поэму в 6 песнях, но здесь останавливает нас одна характеристическая особенность. Это была не героическая поэма, как следовало бы ожидать, а шуточная. Содержанием послужила война между карлами и карлицами во времена Дагоберта. Карло (карлик, шут. – *Прим. ред.*) последнего, по имени Toly (Толи. – *Прим. ред.*), был героем ее, почему и вся поэма называется «La Tolyade» (Толиада. – *Прим. ред.*). Стихотворная шутка начиналась так:

Je chante ce combat, que Toly remporta,  
Où maint guerrier périt, où Paul se signala,  
Nicolas Maturin et la belle Nitouche,  
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche<sup>10</sup>.

Все это было во вкусе того, что слышал Пушкин вокруг себя и чему он довольно долго подражал, как увидим после. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала г-ну Шеделю, жалуясь, что *M-r Alexandre* за подобными вздорами забывает о своих уроках. Шедель расхохотался при первых стихах. Раздраженный автор тут же бросил в печку свое произведение.

Г-н Макаров передает стыд и замешательство молодого Пушкина, когда в доме графа Бутурлина, по разнесшейся молве о поэтических его дарованиях, к нему приступили все жившие там девушки с альбомами и просьбами написать что-нибудь. Какой-то господин прочел русское четверостишие Пушкина и для большей торжественности ударял на «о»<sup>11</sup>. Мальчик только успел сказать: «Ah, mon Dieu!»<sup>12</sup> – и убежал без памяти в библиотеку графа, где долго еще не мог прийти в себя. Эта сцена повторилась в жизни Пушкина, но судьей был тогда Державин, слушателями все наставники лицея и публика, собравшаяся на экзамен, а читанное произведение («Воспоминания в Царском Селе») носило уже признаки зарождающегося таланта.

Между тем приблизилось время общественного образования для Пушкина. Глаза всех родителей обращены были тогда на Иезуитский коллегиум, существовавший в Петербурге и приобретший известность в деле воспитания. Пушкины нарочно ездили в Петербург для устройства этого дела и переговоров с директорами заведения, когда положение об открытии Царскосельского лицея совершенно изменило планы их. Директором лицея был назначен Василий Федорович Малиновский, с которым, как и с братьями его, Сергей Львович находился в дружеских сношениях. При помощи его, а особенно при содействии А. И. Тургенева, горячо принявшегося за это дело, двенадцатилетний Пушкин был принят в счет тех 30 воспитанников, из которых, по положению, должен был состоять весь лицей. Василий Львович привез племянника в Петербург и держал его у себя в доме все время, пока он готовился к экзамену. 12 августа 1811 года Пушкин, вместе с Дельвигом, выдержал приемный экзамен и поступил в лицей. Известно, что месяц и число открытия лицея (19 октября) часто встречаются в стихотворениях Пушкина, посвященных воспоминанию о товарищах и своем пребывании среди них.

Вскоре лицейская семья умножилась. Один из профессоров (г-н Гауеншильд) завел пансион для приготовления молодых людей к вступлению в лицей, а таких было много. Пансион, с высочайшего соизволения, причислен к казенным учебным заведениям под именем

---

<sup>10</sup> Пою сражение, выигранное Толи, где пало много ратников, где Павел отличился, а с ним Николай Матюрин и прекрасная Нитуш, рука которой была наградой за эту страшную схватку.

<sup>11</sup> Это противоречит другому показанию, что Пушкин не писал русских стихов в малолетстве, но мы оставляем здесь слова г. Макарова. Притом же тут совершенной исключительности допустить нельзя. Пушкин мог погрешить и русским четверостишием в это время. Ударение на «о» считалось в то время признаком высокой речи.

<sup>12</sup> О, Боже мой! (фр.).

Лицейского пансиона и сравнен в служебных правах с гимназиями. В пансионе, как и в самом лицее, Пушкин нашел дружеские привязанности, которым оставался верен в продолжение целой жизни. Вообще привязанность воспитанников лицея к месту первоначального своего образования составляет их общую черту. Дельвиг тосковал о лицее на другой же день после своего выхода. Известно, что он писал почти тотчас по приезде в Петербург:

Не мило мне на новоселье:  
Здесь все увяло, там цвело;  
Одно и есть мое веселье —  
Увидеть Царское Село.

Учебная жизнь молодого Пушкина не была блестяща. При обширной, почти изумительной памяти ему не доставало продолжительных, ровных усилий внимания. К тому же в характере его было какое-то нежелание выказывать и те познания, которые он приобрел. Вероятно, по этой причине аттестат, выданный Пушкину по окончании курса, свидетельствовал, как сообщает Лев Сергеевич Пушкин, о посредственных успехах даже в русском языке<sup>13</sup>.

Не входя здесь в подробности преподавания, для чего не имеем мы и достаточных материалов, ограничимся при описании лицея тем, что ближайшим образом касалось Пушкина. Каждый из учеников лицея имел свою отдельную комнату под надзором общего гувернера, С. Л. Ч[ирикова], почтенного человека, посвятившего более тридцати лет жизни исполнению скромной своей должности, и дозволялось по праздникам посещение известных лиц, живших в Царском Селе; для прогулок открыты были воспитанникам сады дворца, а для занятий свободный вход в довольно богатую библиотеку лицея.

Замечательно, что в лицее основные черты характера Пушкина развернулись очень скоро, как будто здесь предоставлен им был простор и сняты были с них досадные помехи; с одной стороны, обнаружилось доверчивое и любящее сердце, с другой – расположение к насмешке и преследованию неприятных личностей, доводившее иногда многих до детского отчаяния. Товарищи называли его французом, вероятно, за превосходное знание французского языка, но эпитет этот скрывал также и нерасположение их к живому и задорному мальчику и выводил иногда самого Пушкина из терпенья. Только немногие знали – и в том числе Дельвиг – его душу, сильно расположенную к приятности и откровенности. Дельвиг был идеалист в жизни, если не в сочинениях. Он еще в лицее побудил Пушкина заниматься немецкой литературой и читать германских поэтов; но Пушкин, кажется, оставил своего товарища на первых попытках ознакомиться с Клопштоком. Смутное предчувствие жизни, неясная потребность существенности держали его постоянно в кругу французских поэтов, с которыми он знаком был хорошо. Тогда еще не только Пушкин, но и почти никто у нас не видал, как была бедна эта поэзия чувством и истиной. Гораздо лучше этого питал ранние умственные наклонности Пушкина другой предмет – история. Мы находим, по единогласному свидетельству самих товарищей Пушкина, что, вместе с французской и отечественной словесностью, он преимущественно занимался историей и между этими предметами делил все свое время и все свои чтения.

Таким образом, очень естественно, что Пушкин продолжал писать французские стихи и в лицее. У нас есть целое стихотворение его, писанное на заданную тему: *jusqu'au plaisir de*

---

<sup>13</sup> В архивах лицея, по свидетельству г-на Гаевского (см. «Современник», 1853, № II), сохранены ведомости о дарованиях, прилежании и успехах воспитанников лицея: с 1 ноября 1812 по 1 января 1814 и с 19 ноября 1812 по 1 февраля 1814 года. В первой, за географию, всеобщую и российскую историю, профессор Кайданов аттестовал Пушкина так: «при малом прилежании, оказывает очень хорошие успехи и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям. В поведении резв, но менее противу прежнего». Во второй, составленной профессором логики и нравственных наук А. П. Куницыным, Пушкин аттестуется: «весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне неприлежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики, особенно по части логики».

pous revoir.<sup>14</sup> Приводим два первых куплета этой пьесы, вызванной соревнованием в одном из царскосельских обществ, где в числе занятий были и литературные состязания.

**Couplets.**

Quand un poète en son extase  
Vous lit son ode ou son bouquet,  
Quand un conteur traine sa phrase,  
Quand on écoute un perroquet, —  
Ne trouvant pas le mot pour rire,  
On dort, on bailie en son mouchoir,  
On attend le moment de dire:  
*Jusqu'au plaisir de nous revoir.*

\* \* \*

Mais tête-a-tête avec sa belle,  
Ou bien avec des gens d'esprit,  
Le vrai bonheur se renouvelle, —  
On est content, Ton chante, on rit:  
Prolongez vos paisibles veilles,  
Et chantez vers la fin du soir  
A vos amis, a vos bouteilles:  
*Jusqu'au plaisir de nous revoir.*<sup>15</sup>

Когда наконец принялся он за русские стихи, движимый постоянным и неопределенным желанием авторской славы, то с первого раза встретил весьма строгого ценителя в профессоре российской и латинской словесности Н. Ф. Кошанском, который старался даже отвлечь его от попыток сочинительства, и только позднее, убедившись в таланте своего ученика, с жаром принялся знакомить его с теорией словесности и с классическими произведениями древности; но рассеянность ученика и болезнь учителя, продолжавшаяся три года, много помешали успеху этого дела. Эпиграммы Пушкина, начинавшие ходить по рукам, доставляли ему ту дешевую известность, которую он предпочитал более дельному отличию на поприще науки: каждый хотел знать эпиграмму его на другого. Люди постарше сверстников и боялись его ударов, и направляли их втайне. Вместе с тем он написал несколько легких посланий, несколько подражаний французским поэтам, которые помещены были в рукописных журналах, издававшихся в самом лицее. Журналы эти совершенно утеряны, и только названия их сохранились в памяти старых лицейских воспитанников; это были: «Лицейский мудрец», «Для удовольствия и пользы», «Неопытное перо», «Пловцы»...

Вообще, склонность к литературе составляла характеристическую черту лицейского воспитания. Между прочим, воспитанники выдумали довольно замысловатую игру. Составив один общий кружок, они обязывали каждого или рассказать повесть, или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае следующий за рассказчиком принимал ее на том месте, где она остановилась, другой развивал ее далее, третий вводил новые подробности, и так до окончания, которое иногда не скоро являлось. Дельвиг первенствовал на этой, так сказать, гимнастике воображения; его никогда нельзя было застать врасплох: интриги, завязки и развязки были у

---

<sup>14</sup> До приятного свидания (фр.).

<sup>15</sup> Прилагаем перевод куплетов: «Когда восторженный поэт читает вам свою оду или свое приношение; когда вялый рассказчик тянет слова; когда, наконец, слушаете попугая, не находя ни одного забавного слова, — вы спите, вы зеаете в платок ваш, вы ждете нетерпеливо минуты сказать: «до свидания! до свидания!» Но с глазу на глаз со своей милой или с умными людьми наступают минуты истинного блаженства. Вы довольны, вы поете и смеетесь. Старайтесь тогда продолжить мирную беседу вашу и к концу вечера, прощаясь с друзьями и бутылками, пойте: «до свидания! до свидания!»

него всегда готовы. Пушкин уступал ему в способности придумывать наскоро происшествия и часто прибегал к хитрости. Помнят, что он раз изложил изумленным и восхищенным своим слушателям историю 12 спящих дев, умолчав об источнике, откуда почерпнул ее. Между тем, при таком же случае, он, еще в грубых чертах, разумеется, передал и две повести, им самим придуманные: «Метель» и «Выстрел», которые позднее явились в «Повестях Белкина».

В бумагах Пушкина сохраняется драгоценная записка, принадлежащая к плану автобиографии, какую замыслил он написать уже в эпоху своей известности и славы. Документ этот, составляющий программу будущего рассказа о самом себе, содержит и перечень всего сказанного нами и несколько новых дополнительных подробностей, из которых многие требуют пояснений, каких мы уже дать не можем. Для будущего биографа Пушкина записка поэта – драгоценнейший очерк, достойный развития и тщательного исследования.

«Семья моего отца, его воспитание, французы-учителя: Воит..., Mr. Martin. Отец и дядя в гвардии. Их литературные знакомства. Бабушка и ее мать – их бедность. Иван Абрамович. Свадьба отца. Смерть императрицы Екатерины – рождение Ольги. Отец выходит в отставку и едет в Москву. Рождение мое.

Первые впечатления. Юсупов сад, землетрясение, няня. Отъезд матери в деревню. Первые неприятности – гувернантки. Рождение Льва. Неприятные воспоминания. Смерть Николая. Монфор, Русло, Кат. П. и Ан. Ив. Нестерпимое состояние. Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Иезуиты. Тургенев. Лицей.

*1811, 1812, 1813.*

Дядя Василий Львович. Дм. Дм., война с Ан. Ник. Светская жизнь. Лицей, открытие. Куницын. Гр. Аракчеев. Начальники наши. Мое положение. Чечнев, Фролов.

*1814.*

Смерть Малиновского. Приезд Карамзина. Приезд матери, приезд отца, стихи etc. Мое тщеславие. 15 лет.

*1815.*

Известие о взятии Парижа. Экзамен, Державин».

Никто не усомнится, что под рукой Пушкина программа эта могла бы развиваться в удивительную картину нравов и в мастерское изображение лиц и происшествий. Только последнюю часть ее – свою встречу с Державиным – рассказал нам поэт, унеся все остальное с собою. Если можно выбирать в литературном деле, которое, вероятно, было бы равно замечательно, то особенно достойно сожаления, что первые впечатления молодости нашего поэта – Юсупов сад, землетрясение, няня – потеряны навсегда для читателей<sup>16</sup>.

Вслед за этим прилагаем второй документ, но это уже отрывок из подлинных записок Пушкина, веденных им во время пребывания своего в лицее. Он принадлежит, по всем признакам, к 1815 году и писан еще юношеским почерком Александра Сергеевича, на синей бумаге в четверку. Около тридцатых годов Александр Сергеевич произвел нечто вроде аутодафе из всех лицейских писем и записок, какие только мог найти под рукою. Наш отрывок уцелел, вероятно, потому, что затерялся в его тетрадях. Самый поверхностный разбор укажет, сколько еще в нем

---

<sup>16</sup> Немногие помнят теперь землетрясение, бывшее в Москве в 1802 году. Вот начало статьи, помещенной тогда в «Вестнике Европы», изд. Н. М. Карамзина («Вестник Европы», 1802, часть VI, № 21, стр. 69. Москва): «14 октября, в исходе второго часа пополудни, мы чувствовали легкое землетрясение, которое продолжалось секунд двадцать и состояло в двух ударах или движениях. Оно шло от востока к западу и в некоторых частях города было сильнее, нежели в других: например (сколько можно судить по рассказам), на Трубе, Рождественке и за Яузою. Оно не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погребка (в городской части) оказались трещины, а в другом отверстие в земле, на аршин в окружности... Удары были чувствительны в высоких домах; почти во всех качались люстры, в иных столы и стулья. Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них кружится голова. Работники, бывшие на Спасской башне, уверяют, что стены ее тряслися. Те, которые шли по улице или ехали, ничего не чувствовали, и большая часть жителей только на другой день узнала, что в Москве было землетрясение...» А. С. Пушкин был еще очень молод в то время, не более трех с половиною лет. Со всем тем любопытно было бы видеть пушкинское изложение, вероятно, нянинных рассказов о необыкновенном феномене

заключено любопытных данных, освещающих лицо поэта в ту эпоху, которая больше других отошла в тень и мрак прошедшего.

Лицейские записки Пушкина открываются второй половиной анекдота, который был впоследствии рассказан Пушкиным иначе, но здесь анекдот сопровождается еще замечательной припиской.

«... большой грузинский нос, а партизан почти вовсе был без носу. Да[выдов] является к Б[еннигс]ену: «Князь Б[аграти]он, – говорит, – прислал меня доложить вашему высокопревосходительству, что неприятель у нас на носу...» – «На чем носу, Д[енис] В[асильевич]? – отвечает генерал. – Ежели на вашем, так он уж близко, если же на носу князя Б[аграти]она, то мы успеем еще отобедать».

*«Жуковский дарит мне свои стихотворения».*

Таким образом, Жуковский еще в 1815 году обратил внимание и поощрительный взгляд свой на юного поэта. Далее следуют строки:

«8 ноября.

Ш[ишк]ов и г-жа Б[уни]на увенчали недавно кн. Шаховского лавровым венком...»

Отсюда начинается послание к известному драматическому писателю нашему, которое не приводим и за слабостью стихов, и за резкостью некоторых упреков<sup>17</sup>.

Поводом к негодованию Пушкина и многих других на кн. Шаховского были его комедии «Липецкие воды» и «Новый Стерн», где в первой видели пародию на баллады Жуковского, а во второй – на сентиментальность Карамзина. Эпитет «записного гонителя талантов» дан был кн. Шаховскому как за эти пьесы, так еще и по неоправданному подозрению в недоброжелательстве к успехам Озерова. Теперь несомненно, что все это было делом увлечения, за которым слепо шел и Пушкин; но надо сказать, что он первый и отстал от толпы, как скоро увидим. Молодой сатирик обращается, однако ж, от стихов к критическому разбору самих произведений даровитого писателя. Это первый пример литературного суждения в Пушкине, а потому выписываем его:

«Мои мысли о Шаховском.

Шах[овской] никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец. Шах[овской] не имеет большого вкуса: он худой писатель. Что же он такое? Неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах, пришед домой, все записывает и потом, как ни попало, вклеивает в свои комедии».

Особенно замечательно следующее место в записках:

«10 декабря.

Вчера написал я третью главу «Фатама, или Разум человеческий», читал ее С. С. и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! Поутру читал «Жизнь Вольтера».

Начал я комедию – не знаю, кончу ли ее. Третьего дня хотел я написать ироическую поэму «Игорь и Ольга».

Летом напишу я «Картину Царского Села».

1. Картина сада.
2. Дворец. День в Ц[арском] С[еле].
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.

---

<sup>17</sup> Вот несколько выписок: Вчера, в торжественном венчанье Творца «Затей», Мы зрели полное собранье «Беседы» всей. Хвала, хвала тебе, о Ш[утовск]ой! \* \* \* Он злой Карамзина гонитель, Гроза баллад, В «Бесед» бодрый усыпитель, Хлыстову брат, И враг талантов записной. Хвала, хвала тебе, о Ш[утовск]ой!.. Здесь уже является враждебное отношение молодых писателей тогдашнего времени к литературному обществу, известному под названием «Беседы любителей русского слова», о чем будет еще сказано в продолжение нашего труда подробнее.

## 6. Жители Царского Села.

Вот главные предметы вседневных моих записок, – но это еще будущее».

Эти *главные предметы записок* обнаруживают постоянное стремление к литературной деятельности в молодом ученике. Некоторые из его товарищей еще помнят содержание романа «Фатама», написанного по образцу сказок Вольтера. Дело в нем шло о двух стариках, моливших небо даровать им сына, жизнь которого была бы исполнена всех возможных благ. Добрая фея возвещает им, что у них родится сын, который в самый день рождения достигнет возмужалости и, вслед за этим, почестей, богатства и славы. Старики радуются, но фея полагает условие, говоря, что естественный порядок вещей может быть нарушен, но не уничтожен совершенно: волшебный сын их с годами будет терять свои блага и нисходить к прежнему своему состоянию, переживая вместе с тем года юношества, отрочества и младенчества до тех пор, пока снова очутится в руках их беспомощным ребенком. Моральная сторона сказки состояла в том, что изменение натурального хода вещей никогда не может быть к лучшему. О комедии Пушкина, вскоре уничтоженной, и о героической поэме почти ничего не могли мы собрать<sup>18</sup>, но картина Царского Села могла служить продолжением другой пьесы: «Воспоминания в Царском Селе», которая была в 1815 году прочитана на публичном экзамене лица в присутствии Державина и породила сцену, так живо рассказанную впоследствии самим Пушкиным. Не мешает прибавить, что отец нашего поэта дополнил ее еще одной чертой. После экзамена был торжественный обед у г-на министра народного просвещения, графа А. К. Разумовского, на который и Сергей Львович получил приглашение. Державин находился тут же. За обедом граф Алексей Кириллович, обращаясь к Пушкину, заметил: «Я бы желал, однако же, образовать сына вашего к прозе». – «Оставьте его поэтом!» – пророчески и с необыкновенным жаром возразил Державин.

Несколько листков записок заняты ученическими, бессвязными куплетами, в которых повторяются слова, части речи и любимые фразы людей, окружавших Пушкина, не представляя почти никакого смысла сами по себе. Как значение, так и соль куплетов совершенно пропали<sup>19</sup>. Гораздо важнее их одно место в записках, где мечтательность юного поэта, питаемая самыми незначительными обстоятельствами, начинает наполнять его ученическую комнату вымыслами, фантастическими образами и предположениями. Отрывок начинается стихами:

«29-го.

Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,  
Отрадой тихую, восторгом упивался!..  
И где веселья быстрый день?  
Промчались летом сновиденья,  
Увяла прелесть наслажденья,  
И снова вокруг меня угрюмой скуки тень!..

Я счастлив был! Нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу – ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице... сладкая минута!

---

<sup>18</sup> Есть положительное известие, что В. А. Жуковский в то же самое время намеревался написать поэму или стихотворение «Ольга», наподобие Вальтер-Скоттовой поэмы «Дева озера». В легенде об Ольге также говорится, что она первоначально была перевозчицей. Бунт Вадима в Новгороде должен был составлять эпизод в поэме, но В. А. Жуковский оставил намерение без исполнения. Не передал ли он плана стихотворения молодому своему приятелю, начинавшему обращать тогда его внимание на себя? Мы знаем, что еще в 1821 г. г-н Пушкин думал о северной поэме «Вадим» и бросил ее после нескольких попыток.

<sup>19</sup> Вот несколько примеров: На Ш. [умахера] Скажите мне шатицы, Как, например: wenn so, Je weniger und desto — Die Sonne scheint also. (если так, чем меньшей тем – Итак, солнце светит (нем.)) На Л (евашиова) Bonjour, Messieurs – потише — Поводьем не играй: Уж я тебя потешу! A quand l' equitation? (Здравствуйте, господа... Когда будет урокверховой езды? (фр.)) На К [арцева] А что читает Пушкин? Подайте-ка сюды: Ступай из класса с богом, Назад не приходи...

Он пел любовь, но был печален глас.  
Увы! он знал любви одну лишь муку.

*Жуковский*

Как она мила была! как черное платье пристало к милой Б[акуниной]!  
Я был счастлив 5 минут!»

Лицейские элегии Пушкина «Месяц», «Окно», «Сну» и проч. оставили нам еще другое напоминание о всех волнениях воображаемой страсти, которая была только едва мерцающей зарей сердечного чувства, так сильно развитого впоследствии у Пушкина; но он вспомнил об ней позднее с умилением. Прибавим, что он совершенно забыл впечатления, высказанные им в стихотворениях «К Наташе», «К молодой актрисе» и проч., которые связывались с домашним театром одного из жителей Царского Села, и сберег в памяти навсегда только одно: впечатление чистой, детской красоты, случайно встреченной им в годину ученической жизни...

Наконец, заключаем разбор лицейских записок выпиской целого портрета. Это первый полный опыт Пушкина в создании лица, характера – первое чисто литературное его произведение. Полагаем, что эти качества сообщат ему особенную занимательность.

«17.

Вчера провел я вечер с Ик[онниковым].

Хотите ли вы видеть странного человека, чудака, – посмотрите на Ик[онникова]. Поступки его – поступки сумасшедшего; вы входите в его комнату: видите высокого, худого человека, в черном сюртуке, с шеей, окутанной черным, изорванным платком. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчесаны; он стоит задумавшись, кулаком нюхает табак из коробки – он дико смотрит на вас. Вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг – он вас не узнает. Вы подходите, зовете его по имени, говорите свое имя, он вскрикивает, кидается на шею, целует, жмет руку, хохочет задушевым голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трет себе лоб, ерошит голову, вздыхает. Перед ним карафин (графин. – *Прим. ред.*) воды; он наливает стакан и пьет, наливает другой, третий, четвертый – спрашивает еще воды и еще пьет, говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства; ходит пешком из П[етербур]га в Ц[арское] С[ело], чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и дерзок; рассыпается в благодареньях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердится за благодеянье, ему оказанное, – легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен, честолюбив. Ик[онников] имеет дарования, пишет изрядно стихи и любит поэзию. – Вы читаете ему свою пьесу – наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко; – зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он учтив до бесконечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда».

Здесь кончаются записки Пушкина, и мы теперь же переходим к подробному разбору так называемых лицейских его стихотворений, которые составляют довольно многочисленную семью, заслуживающую внимание по многим обстоятельствам. Не говоря уже об интересе, который связывается даже с незрелыми произведениями истинного художника, они способствуют еще к уразумению нравственной его физиогномии в известную эпоху жизни. За неимением ближайших сведений, погибающих вместе с людьми и даже прежде людей, эти данные имеют сами по себе немаловажное достоинство.

Первыми русскими стихотворениями Пушкина, написанными в лицее, должны считаться его «Послание к сестре», не бывшее в печати, и следующие стихотворения, помещенные в «Вестнике Европы» 1814 года, издававшемся Владимиром Васильевичем Измайловым: 1) «К другу стихотворцу», 2) «Кольна», 3) «Венере от Лаисы, при посвящении ей зеркала», 4) «Опыт-

ность» и 5) «Блаженство». За указание этих стихотворений мы обязаны глубокою благодарностью, вместе с читателями нашими, барону М. А. Корфу, сообщившему нам тетрадь стихотворений, где собраны лицейские произведения его бывших товарищей. Без нее, может быть, никогда бы и нельзя было с надлежащей достоверностью разяснить вопрос о первых произведениях Пушкина. Последние два из приведенных стихотворений очень любопытны как раннее подражание Батюшкову<sup>20</sup>. К 1814 году принадлежат также стихотворения «Красавице, которая нюхала табак», «Пирующие друзья», пьеса «Путешественнику», настоящее заглавие которой было «К Н. Г. Л[омоносо]ву», романс «Под вечер, осенью ненастной...» – и, может быть, «Послание к Батюшкову» («Философ резвый и пиит...»).

Ранее этих первых опытов трудно, кажется, сыскать что-либо. По указанию кн. Вяземского стихотворение «На смерть Кутузова» («Отечество в слезах познало весть ужасну...»), приписанное одним журналом Александру Пушкину и помещенное в «Вестнике Европы» 1813 года, принадлежит родственнику нашего поэта, Алексею Михайловичу Пушкину.

В 1815 году деятельность молодого поэта расширяется. Кроме двух пьес – «Наполеон на Эльбе», помещенной в «Сыне отечества» на 1815 год (№ XXV и XXVI), и «На возвращение императора Александра из Парижа», напечатанной в «Трудах Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете» (1817, часть IX), – уже 18 пьес Пушкина является в «Российском музее, или Журнале европейских новостей на 1815 год», издания того же В. В. Измайлова, который был восприемником первых произведений почти всех лицейских поэтов. Дельвиг поместил в обоих его журналах (1814 и 1815 годов) до пятнадцати пьес. Илличевский – девять и проч. Должно заметить, что А. Д. Илличевский своими эпиграммами и шутками, переделанными с французского, пользовался у товарищей высоким уважением как автор и оспаривал у Пушкина честь первенства до тех пор, пока Державин своим одобрением не решил, кому отдать преимущество.

Из восемнадцати пьес Пушкина, помещенных в «Российском музее», только девять вошли в посмертное издание его сочинений (1838–41 гг.), а девять выпущены. Подписаны они были в журнале разными цифрами, буквами и анаграммой, что все указано в примечаниях наших к стихотворениям, ныне вполне собранным.

Далее, в «Трудах Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете» 1818 года, часть X, помещены были две пьесы Пушкина, написанные им одна в 1815 году, а другая в 1817-м: 1) «Безверие» (1817), 2) «Гробница Анакреона» (1815), а в журнале П. Корсакова «Северный наблюдатель» 1817 года пять следующих: 1) «Певец» (1816), 2) «К ней» («Эльвина, милый друг...», 1816), 3) «Послание к Лиде» («Тебе, наперсница Венеры...», 1816), 4) «Пробуждение» («Мечты, мечты...», 1816), 5) «Эпиграмма» («Покойник Клит...», 1816).

Из них только «Послание к Лиде» пропущено было посмертным изданием сочинений Пушкина (1838–41 гг.).

К лицейским же (в точном смысле слова) должна принадлежать и пьеса «Разлука», напечатанная в «Невском зрителе» 1820 года (часть II) под заглавием «К[юхельбекер]у»,

---

<sup>20</sup> Первым напечатанным стихотворением Пушкина было послание «К другу стихотворцу» («Вестник Европы», 1814, № 13, подпись Александр Н.к. ш.п.). Известный библиограф наш С. Д. Полторацкий сообщает даже подробности о дне появления первого произведения Пушкина *в печати*. Вот слова, извлеченные из тетрадей его, наполненных любопытными заметками и сведениями. «Сколько мне известно, – говорит он, – это («К другу стихотворцу») первое напечатанное стихотворение Пушкина. Оно появилось в свет в *субботу, 4 июля 1814 г.*, потому что 13-я книжка «Вестника Европы», в которой оно напечатано, вышла в свет и раздавалась подписчикам в этот день, что видно из «Московских ведомостей» (№ 53, суббота, 4 июля 1814, стр. 1320, столбец 2-й). Измайлов (Владимир Васильевич), издававший в 1814 году «Вестник Европы», получил это стихотворение еще в апреле месяце, но не хотел его печатать, не узнав прежде имени сочинителя. Это видно из следующего объяснения, напечатанного в 8-м № «Вестника Европы» (1814, часть 74, стр. 324): От издателя: Просим сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы под названием «К другу стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики.

и пять пьес, напечатанных в альманахе «Памятник отечественных муз на 1827», именно: «Романс» (1814), «Желание» (1816), «Фавн и пастушка» (1816), «Заздравный кубок» (1816), «К живописцу» (1815) и наконец семнадцать впервые помещенных в издании стихотворений Пушкина 1826 года, а именно: «Друзьям» (1816), «Амур и Гименей» (1816), «Роза» (1816), «Ш[ишк]ову» (1816), «Пушкину» (1817), «Дельвигу» (1817), «К\*\*\*» («Не спрашивай, зачем унылой думой...», 1817), «Торжество Вакха» и девять мелких пьес (эпиграмм и надписей).

Всего же напечатанных при жизни поэта лицейских стихотворений, если включить сюда и «Послание к Каверину» («Московский вестник», 1828, № XVII), считаем мы пятьдесят шесть, между тем как полное число произведений, обозначаемых «лицейскими» и собранных в настоящем издании, восходит до ста двадцати, да и то еще нельзя ручаться, чтоб тут не было пропусков.

Лицейские стихотворения не могут быть ограничены июнем 1817 года, т. е. месяцем выпуска воспитанников, потому что одинаковый тон, сходство стиха и направления связывают с ними неразрывно и произведения нашего поэта второй половины того же самого года. Вот почему как в нашем издании, так и при исчислении его произведений мы отнесли к «лицейским» все пьесы до 1818 года и только с этого года начинаем другой отдел. Правда, название становится не совсем точно, но, будучи принято по общему соглашению для обозначения духа известной цепи произведений, оно не теряет своей верности и в настоящем случае. Пушкин сделался весьма строг к «грехам отрочества», как он называл стихи своей молодости. Из всей кипы их (120) он выбрал в 1826 году для первого собрания своих стихотворений только четырнадцать значительных пьес («Пробуждение», «Друзьям», «Гроб Анакреона», «Торжество Вакха», «Певец», «Амур и Гименей», «Разлука», «Лицинию», «П[ушки]ну», «Ш[ишк]ову», «Дельвигу», «Роза», «Старику», «К\*\*\*») и девять эпиграмм и надписей; всего двадцать три пьесы. Большая часть их была еще вдобавок вся пересмотрена и исправлена против прежних редакций и рукописей, так что вряд ли может и дать настоящую идею о лицейских произведениях. Мы имели случай видеть тетрадь, с которой печаталось это собрание стихотворений: там девять пьес, уже одобренных цензором, зачеркнуты рукою самого автора. Некоторые из них, как то: «Наездник», «Уныние», «Романс», попали в посмертное издание его стихотворений 1838–41 годов, в отдел лицейских произведений, однако же совсем в другом виде, нежели в тетради, о которой говорим. Причина ясна: издание это в дополнительном, 9-м томе своем печатало все лицейские стихотворения или с черновых рукописей Пушкина, или с грубых снимков, что еще хуже. Сам Пушкин печатал их уже в законченном виде. Причина эта понудила нас в настоящем издании подвергнуть все лицейские стихотворения тщательной проверке и показать в примечаниях разницу между испорченным списком и настоящим текстом, где это возможно, а где нет – то сберечь поправки, сохранившиеся в черновых рукописях на стихотворениях Пушкина, который одно время (1817 г.) хотел привести их в порядок, как свидетельствуют надписи его на многих пьесах: «переделать», «не надо», «переписать»<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Книжка «Стихотворения Александра Пушкина. 1828 г., С.-Пб. Типография департамента Народного Просвещения, страниц XI, и 192» весьма любопытна. Она издана была, когда сам поэт находился в деревне своей, Михайловском, после службы в Кишиневе и Одессе, снабжена эпиграфом из Проперция и небольшим вступлением от имени издателей, которое выписываем: «Собранные здесь стихотворения не составляют полного издания всех сочинений А. С. Пушкина. Его поэмы помещены будут со временем в особенной книжке. Мы теперь предлагаем только то, что не могло войти в собрание собственно называемых поэм. В короткое время автор наш успел соединить голоса читателей в пользу своих поэтических дарований. Мы считаем себя вправе ожидать особенного внимания и снисхождения публики к нынешнему изданию его стихотворений. Любопытно, даже поучительно будет для занимающихся словесностию сравнить четырнадцатилетнего Пушкина с автором «Руслана и Людмилы» и других поэм. Мы желаем, чтобы на собрание наше смотрели, как на историю поэтических его досугов в первое десятилетие авторской жизни. Многие из сих стихотворений напечатаны были прежде в периодических изданиях. Иные, может быть, нами и пропущены. При всем том, это первое, в некотором порядке, собрание небольших стихотворений такого автора, которого все читают с удовольствием. Как издатели мы перед ним и перед публикою извиняемся особенно в том, что по недосмотрению корректора остались в нашей книжке значительные типографические ошибки». Следуя своему правилу, издатели разделили стихотворения по родам, но к каждой пьесе приложили год ее сочинения, чем значительно облегчили

Та же самая строгость выбора присутствовала и при вторичном издании стихотворений его в 1829 году в двух томах. В нем повторены только лицейские стихотворения издания 1826 года и не прибавлено к ним ни одной новой пьесы из этого времени. Все это показывает значительную осторожность Пушкина в отношении первых своих произведений. Он даже отказывался от некоторых из них. Так, в альманахе Б. М. Федорова «Памятник отечественных муз» 1827 года напечатано было, с согласия самого автора, несколько лицейских его опытов. Между ними находился «Романс» («Под вечер, осенью ненастной...»), о котором Пушкин совершенно забыл, хотя и вписал его в тетрадь, приготовленную для печати стихотворений его в 1826-м. В 1830 году он уже не признавал этого стихотворения своим, говоря: «По крайней мере, не должен я отвечать за чужие проказы»<sup>22</sup>. Мы знаем также, что он глубоко был оскорблен, когда, по возвращении в Петербург из путешествия в Арзрум в 1829 году, нашел в альманахе «Северная звезда» г-на Михаила Бестужева-Рюмина (а не Марлинского, как напечатано, по странной ошибке, в «смеси» посмертного издания) семь своих лицейских стихотворений, напечатанных без спроса и дозволения. Издатель альманаха поставил под ними буквы *Ап.* и почел еще за нужное, в предисловии, сделать оговорку: «Издатель, благодаря г-ну *Ап.*, доставившего к нему тринадцать пьес<sup>23</sup> (из которых несколько помещены в сей книжке), должным находит просить гг. Неизвестных об объявлении впредь имен своих издателю, ибо, если они желают скрыть их от публики, то в сем отношении совершенно могут быть уверены в скромности издателя, а сему последнему необходимо должны быть известны имена особ, доставляющих к нему для напечатания свои пьесы». Под буквами *Ап.* издатель, видимо, подразумевал Пушкина, и поэт, раздосадованный столько же нарушением своей собственности, сколько и неблагоприятным изъяснением издателя, хотел даже обратиться к посредничеству ближайшего начальства, но ограничился только заметкой в своих записках 1830 года: «Г-н Бестужев в предисловии какого-то альманаха благодарит какого-то г-на *Ап.* за доставление стихотворений, объявляя, что не все удостоились печатания... Г-н *Ап.* не имел никакого права располагать моими стихами, *поправлять их по-своему* и отсылать их в альманах г-на Б. вместе с собственными произведениями...» Вообще обнародование того, что он сам считал недостойным известности, привело его в немалый гнев, как увидим впоследствии еще несколько примеров. Теперь же, когда слава его упрочена и первые упражнения в поэзии не могут бросить на нее ни малейшей тени, возможно полное собрание лицейских стихотворений должно служить весьма поучительным вступлением к истории литературной деятельности Пушкина вообще и отчасти необходимым к ней пояснением.

Всем известно, что первые опыты Пушкина возбудили толки и ранние надежды современников. Г-н Макаров в статье «О детстве Пушкина» («Современник», 1843, № 3) собрал весьма любопытные свидетельства о мнениях по этому поводу, ходившие в обществе. «Кто не помнит там (в «Российском музее»), – говорит он, – «Воспоминания в Царском Селе», «Послание к Батюшкову», «К\*\*\*» и проч. Тут светились дарования Пушкина ясно...» Тут уже знаменитый Дмитриев, сравнивая их с обыкновенным родом поэзии, господствовавшей у

---

хронологическое распределение пьес, которое нами принято за основание издания. Второе издание стихотворений Пушкина (Стихотворения Александра Пушкина. 2 части. 1829 г. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, стр. 224, 176». Вместо цензурного одобрения на обеих частях: «С дозволения Правительства») уже совсем откинуло методу разбора пьес по содержанию и следовало одному чисто хронологическому порядку, что повторяется и в настоящем, предлагаемом публике издании. Кстати, мы увидим позднее, что предисловие к первому изданию 1826 года, которое приведено выше, было написано по плану и указанию самого Пушкина.

<sup>22</sup> То же самое повторилось и в отношении пьесы «Фавн и пастушка», напечатанной в том же альманахе. Мы находим в «Северных цветах», 1829 год, в статье «Обзор российской словесности за 1828 г.» следующие слова в виде упрека: «Так, еще в «Памятнике муз» за 1827 год напечатаны были отрывки из стихотворения Пушкина «Фавн и пастушка», стихотворения, от которого поэт наш сам отказывается и поручил нам засвидетельствовать сие перед публикой». Обзор подписан О. Сомовым. Но стихотворение собрано тетрадью барона М. А. Корфа, о которой мы говорили, и таким образом принадлежность его Пушкину несомненна.

<sup>23</sup> В альманахе было всего семь пьес Пушкина: это тоже уловка издателя альманаха для затемнения дела.

нас, говорил: «Классическая такта и в стихах и в прозе лишает нас многого хорошего; мы как-то не смеем не придерживаться к «Краткому руководству к Оратории Российской!» Василий Львович Пушкин, долго не соглашавшийся признать поэтический талант в племяннике, радовался, однако ж, что «Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского». Необычайную прозорливость оказал другой певец, граф Д. И. Хвостов. В ранних опытах Пушкина он почувствовал «перелом классицизму». Восторг Державина при слушании строф из «Воспоминания в Царском Селе» уже известен.

Все похвалы эти имели основание. Тем людям, которые застали Пушкина в полном могуществе его творческой деятельности, трудно и представить себе надежды и степень удовольствия, какие возбуждены были в публике его первыми опытами; но внимательное чтение их и особенно сравнение с тем, что делалось вокруг, достаточно объясняют причину их успеха. Стих Пушкина, уже подготовленный Жуковским и Батюшковым, был в то время еще очень неправилен, очень небрежен, но лился из-под пера автора, по-видимому, без малейшего труда, хотя, как вскоре увидим, отделка пьес стоила ему немалых усилий. Казалось, язык поэзии был его природный язык, данный ему вместе с жизнью. Сам Пушкин как будто верил в эту мысль и в превосходном стихотворении, вновь отысканном, мог по справедливости сказать про свою Музу:

Ты, детскую качая колыбель,  
Мой юный ум напевами пленила  
И меж пелен оставила свирель,  
Которую сама заморозила!

Часто посреди простых ученических упражнений, стихотворных нецеремонных бесед с друзьями и в подражаниях Державину, Карамзину и Жуковскому – неожиданно встречаешься у Пушкина с оригинальными образами, с приемами, уже предвещающими позднейшую эпоху его развития. Так, в стихотворении 1815 года «Мечтатель» есть строфа, которая может вообще считаться естественной предшественницей антологических его стихотворений:

На слабом утре дней златых  
Певца ты<sup>24</sup> осенила,  
Венком из миртов молодых  
Чело его покрыла,  
И, горним светом озарясь,  
Влетала в скромну келью  
И чуть дышала, преклонясь  
Над детской колыбелью.

В стихотворении 1816 года «Друзьям» есть уже первые черты той тихой и светлой грусти, которая составляла впоследствии отличительную черту его элегий:

К чему, веселые друзья,  
Мое тревожит вас молчанье?  
Запев последнее прощанье,  
Уж муза смолкнула моя.  
Напрасно лиру взял я в руки  
Бряцать веселье на пирах

---

<sup>24</sup> Муза.

И на ослабленных струнах  
Искать потерянные звуки.  
Богами вам еще даны  
Златые дни, златые ночи,  
И на любовь устремлены  
Огнем исполненные очи!  
Играйте, пойте, о друзья!  
Утратьте вечер скоротечный; —  
И вашей радости беспечной  
Сквозь слезы улыбнуся я.

Пьеса эта, переделанная Пушкиным несколько позднее, приобрела удивительную круглоту и в этом виде вряд ли чем отличается от лучших его произведений. В стихотворении 1817 года «К молодой вдове» кто, хотя немного знакомый с манерой Пушкина, не узнает его руки?

... Вечно ль слезы проливать?  
Вечно ль мертвого супруга  
Из могилы вызывать?  
Верь мне: узников могилы  
Там объемлет вечный сон,  
Им не мил уж голос милый,  
Не прискорбен скорби стон.  
Не для них весенни розы,  
Сладость утра, шум пиров,  
Откровенной дружбы слезы  
И любовниц робкий зов.

При некотором старании можно было бы увеличить число таких примеров, но и этих достаточно для оправдания нашей мысли. Лицейские стихотворения полны намеков, беглых линий, теней, которые впоследствии самим Пушкиным обращены в ясные, полные и живые образы. Очень многие из этих ранних заметок, совершенно преобразованных поэтом в эпоху его самобытного развития, нашли себе место в разных его произведениях. Лицейские стихотворения походят на памятную книжку, где записано многое слишком коротко и бегло, многое слишком пространно и слабо. Пушкин нередко черпал материалы из своего старого запаса, чему несколько примеров собрано нами в примечаниях к его лирическим пьесам.

Основной характер юношеской поэзии Пушкина составляет веселый взгляд на жизнь и стремление к беззаботному наслаждению ею, что и доставило ей успех в публике и между товарищами. Если разобрать стихотворения трех годов, с 1816 по 1818-й, и отделить от них подражания Пушкина всем предшественникам – Державину, Карамзину и Жуковскому, – остается еще большой отдел легких, игривых посланий, застольных, вакхических песен, которые, видимо, обязаны существованием своим влиянию французских, так называемых анакреонтических, писателей. Еще на скамьях лицея Пушкин прочел всех корифеев этой поэзии – Шолье, Шапеля, Берни, Грессе, Грекура и Парни, – и первые его опыты связаны с этими именами и с тем родом произведений, которым занимался отец его, Сергей Львович. Стихотворения 15- и 16-летнего Пушкина были только продолжением того рода домашней поэзии, с которым он познакомился у себя в семействе. Не нужно пересчитывать многочисленных произведений этого отдела: они легко узнаются по притязаниям на остроумие, по небрежности картин и самого хода их. Между ними есть даже русская сказка «Бова», которая, несмотря на простонародное свое название и на подражание Карамзину, сильно походит вместе с тем и

на сказочку Вуазенона. Правда, некоторые из них уже выступают из ряда холодных, внешне эффектных и остроумных произведений французской поэзии – именно те, где особенно чувствуется влияние Батюшкова, как, например, в пьесах «Гроб Анакреона», «Мечтатель» («По небу крадется луна...») и во всех элегиях Пушкина. Батюшков был первым учителем Пушкина в тонком эстетическом вкусе, в искусстве облекать самые смелые порывы фантазии в грациозные образы и совершенством формы смягчать резкость представления. Пушкин признавал себя учеником Жуковского, но общее впечатление, производимое его юношескими опытами, заставляет перенести это звание и эту честь скорее на Батюшкова, чем на автора «Людмилы». Пушкин высоко ценил даже сходство, какое могут представлять некоторые из собственных его стихов с манерой Батюшкова. Рассказывают, что в 1828 году он, по просьбе одного литератора в Москве, написал ему в альбом известное свое стихотворение «Муза» («В младенчестве моем она меня любила...»). На вопрос литератора, почему пришло ему на ум именно это стихотворение, Пушкин отвечал: «Я люблю его – оно отзывается стихами Батюшкова».

Мы упомянули об элегиях Пушкина 1816 года, каковы «Месяц», «Осеннее утро», «Окно», «Сну» и проч. Нельзя пройти их без внимания. Они, по нашему мнению, составляют переход к более самостоятельным его произведениям, которые появились спустя три года. Напрасно стали бы искать в них глубокого чувства позднейших его произведений: это были первые тревоги поэтической души, первое пробуждение чувства. Отсюда истекал впоследствии тот чудный родник лирических песней, который так освежительно действует доселе на сердце и воображение читателя! Без труда можно видеть, что в основании его элегической задумчивости нет никакого действительного события, еще менее настоящей страсти; но эти неясные и неопределенные жалобы, опережающие жизнь, истинны сами по себе. Лицо, возбудившее их, упоминается в лицейских записках Пушкина, как мы видели. К тому же лицу относится и стихотворение «К живописцу», которое, будучи положено на музыку одним из товарищей Пушкина, часто распевалось в лицее хором, хотя пьеса эта есть только перевод известного стихотворения Парни «Peintre, Qu'Hebe soit ton modele...».<sup>25</sup>

К концу своего пребывания в лицее Пушкин уже обратил на себя внимание и надежды не только сотоварищей и родных своих, подозрительно смотревших до того на его обыкновенные занятия<sup>26</sup>, но и представителей русской литературы: Державина, Карамзина и Жуковского. Слава доставалась ему легко, как человеку, предопределенному на это, а вместе с тем и самая жизнь начинала определяться в тех самых чертах, какие видим и впоследствии. К концу лицейского поприща он предается вполне миру фантазии, как говорит один из его соучеников, почти непрерывно задумываясь и сочиняя в классах, в играх, на прогулках: порывы пылких страстей, которые были в крови его и так сильно ознаменовали его существование, становятся виднее и чаще. К этому надо прибавить, что и воображение молодого Пушкина развилось с необычайной силой в несколько годов пребывания в лицее. Он даже во сне видел стихи и сам рассказывал, что ему приснилось раз двестише:

«Пускай Глицерия, красавица младая,  
(Равно всем общая, как чаша круговая...»),

к которому он и приделал потом целое стихотворение «Лицинию», долго носившее обманчивую ссылку на латинскую словесность, откуда будто бы оно почерпнуто.

С глубоким чувством вспоминал поэт первые беседы свои со вдохновением в стенах лицея и оставил чудное описание их в «Онегине»:

<sup>25</sup> «Художник, пусть Геба послужит тебе образцом...» (фр.)

<sup>26</sup> Примирение и одобрительный вызов на продолжение поэтических упражнений последовал, кажется, за пьесой «Лициний». До тех пор поэзия молодого Пушкина казалась шалостью в глазах близких ему людей и встречала постоянное осуждение.

В те дни, в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться муза стала мне...

В дополнение к этим строфам приводим неизданный отрывок «Онегина», где Пушкин еще подробнее и с таким же поэтическим одушевлением рисует свое собственное лицо в стенах лицея. Кроме автобиографического значения, отрывок наш имеет еще и другого рода занимательность: в нем читатели встречаются впервые с черновым оригиналом вдохновенных строф 8-й главы «Онегина» о лицее, столь известных публике.

### I

В те дни, когда в садах лицея  
Я безмятежно расцветал,  
Читал охотно «Елисея»,  
А Цицерона проклинал,  
В те дни, как я поэме редкой  
Не предпочел бы мячик меткой,  
Считал схоластику за вздор  
И прыгал в сад через забор,  
Когда порой бывал прилежен,  
Порой ленив, порой упрям,  
Порой лукав, порою прям,  
Порой смирен, порой мятежен,  
Порой печален, молчалив,  
Порой сердечно говорлив.

### II

Когда в забвенье перед классом  
Порой терял я взор и слух,  
И говорить старался басом,  
И стриг над губой первый пух,  
В те дни... в те дни, когда впервые  
Заметил я черты живые  
Прелестной девы, и любовь  
Младую взволновала кровь,  
И я, тоскуя безнадежно,  
Томясь обманом пылких снов,  
Везде искал ее следов,  
Об ней задумывался нежно,  
Весь день минутной встречи ждал  
И счастье тайных мук узнал...

И часто потом возвращался Пушкин к сладким воспоминаниям о первых годах своей молодости, а в неизданном стихотворении «Наперсница волшебной старины...» соединил даже в одной, удивительно изящной, раме лицейские воспоминания своего младенчества, видения семнадцатого года с портретом бабушки Марьи Алексеевны, занимавшей его ребяческие лета. Вот оно:

Наперсница волшебной старины,  
Друг вымыслов игривых и печальных —  
Тебя я знал во дни моей весны,  
Во дни утех и снов первоначальных!  
Я ждал тебя. В вечерней тишине  
Являлась ты веселою старушкой,  
И надо мной сидела в шушуне,  
В больших очках и с резвою гремушкой.  
Ты, детскую качая колыбель,  
Мой юный слух напевами пленила  
И меж пелен оставила свирель,  
Которую сама заморозила!  
Младенчество прошло как легкий сон;  
Ты отрока беспечного любила —  
Средь важных муз тебя лишь помнил он,  
И ты его тихонько посетила.  
Но тот ли был твой образ, твой убор?  
Как мило ты, как быстро изменилась!  
Каким огнем улыбка оживилась!  
Каким огнем блеснул приветный взор!  
Покров, клубясь волною непослушной,  
Чуть осенял твой стан полувоздушной.  
Вся в локонах, обвитая венком,  
Прелестная глава благоухала,  
Грудь белая под желтым жемчугом  
Румянилась и тихо трепетала...

Выпуск воспитанников назначен был тремя месяцами ранее определенного срока и происходил 9 июня 1817 года вместо 19 октября. На публичном экзамене из русской словесности Пушкин прочел свое стихотворение «Безверие». В журналах того времени осталось трогательное описание торжества выпуска воспитанников, описание, которое в простой своей форме весьма много говорит сердцу читателя (см. «Сын отечества», 1817, № XXVI).

Государь император удостоил торжественный акт своим присутствием и повелел представить себе всех выпускаемых учеников. С отеческою нежностью увещевал он их о исполнении священных обязанностей к монарху и отечеству и преподал несколько советов, долженствовавших руководить их на пути жизни. Затем представлены были ему все профессора и начальники лицея. Осмотрев с величайшею подробностью устройство лицея, государь император возвратился к ожидавшим его воспитанникам с новыми милостями. Он награждал каждого из них жалованьем, до получения штатного места на предстоящей службе, смотря по разряду, к которому принадлежит каждый. Выходившие с чином 9 класса имели право на 800 руб. асс., а получившие 10 класс – на 700 руб. С глубоким умилением и благословениями проводили профессора и начальники лицея монарха своего, и ни один из них не был забыт в наградах, щедро излившихся на них вслед за сим.

Пушкин, 19-й воспитанник по выпуску, принадлежал ко второму разряду и 13 июня 1817 года определен в Государственную Коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря. Напрасно прежде этого добивался он у отца позволения вступить в военную службу, в Гусарский полк, где уже было у него много друзей и почитателей. Начать службу кавалерийским офицером была его ученическая мечта, сохранившаяся в некоторых его посланиях из

лица. Сергей Львович отговаривался недостатком состояния и соглашался только на поступление сына в один из пехотных гвардейских полков.

Кстати будет сказать здесь, что физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купанья, езды верхом и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля. Все это, однако ж, не помешало Пушкину несколько позднее предполагать в себе расположение к чахотке и даже чувствовать, по собственным словам его, признаки аневризма в сердце.

## Глава III

### Жизнь и литературная деятельность в С.-Петербурге. 1817–1820 гг.

*Поездка в Михайловское. – Слова утерянного дневника об этой поездке. – Светская жизнь, болезнь 1818 года. – Г-жа Кирхгоф, белые стихи и пародия «Послушай, дедушка...». – Черновые тетради. – Внутренний процесс творчества. – Поправки и рисунки Пушкина. – Отрывки из «Альбома Онегина»: «В сафьяне, по краям окован...». – Послание к Каверину 1817 года как взгляд на самого себя. – Пушкин в обществе литераторов. – Анекдот с Карамзиным. – Жуковский исправляет стихи, забытые Пушкиным. – «Арзамас» и «Беседа любителей русского слова». – Вопрос о романтизме, Каченовский, кн. Вяземский, «Бахчисарайский фонтан». – Общества словесности и литературные кружки. – Чтение «Руслана и Людмилы» на вечерах у Жуковского, слово Батюшкова. – Пушкин и Катенин. – Катенин мирит Пушкина с Шаховским и Колосовой. – Осторожность Пушкина в суждениях о людях, причина непоминовения в «Сев[ерных] цветах» 1829 (года) стихов Катенина. – Минута недоразумения между Пушкиным и Катениным и письмо первого по поводу этого недоразумения и комедии «Сплетни». – Письмо Пушкина к Катенину (1825 г.) с приглашением заняться романтической трагедией. – Другое письмо к Катенину с изъявлением участия о поступлении «Андромахи» последнего на сцену и скромным отзывом о своих «Цыганах». – Третье письмо к тому же (1826 г.) с приглашением издавать журнал. – Пушкин и Дельвиг. – Важное значение 1819 года; стихи «Увы, зачем она блистает...». – Настоящая манера и сознание своего таланта. – Разнообразие впечатлений, производящее беспрестанную деятельность вдохновения. – Появление стихотворений «Уединение», «Домовому», «Художник-варвар...». – Ясные признаки самосознания.*

По выходе из лицея А. С. Пушкин отправился тотчас же в Михайловское, деревню Псковской губернии, состоявшую тогда из 80 душ и барского дома с красивым и довольно большим садом. Один уцелевший клочок его записок 1824 года, теперь не существующих, сохранил следующие строки: «1824 года, ноября 19-го, Михайловское. Вышед из лицея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось недолго. Я любил и доньне люблю шум и толпу». Семейство его уже покинуло Москву и жило постоянно в Петербурге, уезжая на лето в Михайловское. В деревне молодой Пушкин с первого раза очутился в среде многочисленной дальней своей родни – Ганнибаловых, рассеянных и бедных потомков знаменитого негра Абрама Петровича, награжденного Петром Великим обширными поместьями в тех местах. На обороте того же клочка потерянных записок, о которых мы упомянули, есть слова: «... попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он ее и мне поднести; я не поморщился – и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда...» Старый арап, угощавший молодого Пушкина, есть, по всем вероятностям, Петр Абрамович Ганнибал, последний сын родоначальника этой фамилии, переживший всех своих братьев. Много оригинальных и живых лиц должен был встретить Пушкин тотчас же за порогом лицея. Каждое лето возвращался он в Михайловское. Имя этой деревни, доставшейся Надежде Осиповне Пушкиной после смерти ее отца, уже известного нам Осипа Абрамовича Ганнибала, начинало связываться нераздельно с его собственным именем. Круг знакомства у Пушкина должен был, однако же, охватить все слои русского общества. Как литератор и светский человек, будущий автор «Евгения Онегина» уже поставлен был с начала зимы 1817 года в благоприятное положение, редкое вообще у нас, видеть вблизи разные классы

общества; но выгода этого положения еще не могла принести тогда всей своей пользы: порывы молодости затемняли дело и мешали какому бы то ни было отчетливому сознанию своего преимущества и своей обязанности как писателя.

С неутомимой жадной жаждой наслаждений бросился молодой Пушкин на удовольствия столичной жизни. С самых ранних пор заметно в нем было постоянное усилие ничем не отличаться от окружающих людей и идти рядом с ними. Запас страстей, еще не растроченных и не успокоившихся от годов, должен был, разумеется, увлечь его за общим потоком еще более, чем какое-либо правило, наперед составленное для действий. Господствующий тон в обществе тоже совпадал с его наклонностями. Предприимчивое удалство и молодечество, необыкновенная раздражительность, происходившая от ложного понимания своего достоинства и бывшая источником многих ссор; беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов – вот что составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников. Он был в это время по плечу каждому – вот почему до сих пор можно еще встретить людей, которые сами себя называют друзьями Пушкина, отыскивая права свои на это звание в общих забавах и рассеяностях эпохи. Для шумных похвал их писал он те легкие заметки, которыми оправдывал недолгое брожение юности, и воспевал вседневные предметы и образы. С людьми, понимавшими достоинство искусства, Пушкин молчал о них или старался отвлечь от них внимание. Так, при первом знакомстве своем с П. А. Катениным, выпытывая его мнение о себе, он упорно отказывался прочесть что-нибудь из своих рукописных произведений, говоря: «Показать их знающему стыдно: они не при нем писаны». Но жизнь шла своим чередом и по заведенному порядку. Водоворот ее, постоянно шумный, постоянно державший его в раздражении, должен был иметь влияние столько же на нравственное состояние его, сколько и на физическую организацию. Спустя 8 месяцев после выхода своего из лица Пушкин лежал в горячке, почти без надежды и приговоренный к смерти докторами. Это было в феврале 1818 года<sup>27</sup>.

Гений молодого поэта, однако ж, возрастал и креп даже в этой сфере и в 1819 году достиг той степени самостоятельности, когда уже можно ясно различить чистое творчество и твердые его приемы. Предшественниками стихотворений 1819 года были только даровитые попытки, но и в них ранние черты бодрости и свежести таланта изумляли опытных и зорких людей, следивших за его развитием. Что касается до публики, то автор наш был упоен ее похвалами за все свои произведения безразлично. Он усвоил себе в это время четырехстопный ямб с рифмами

<sup>27</sup> А не в феврале 1821 года, как сказано, по ошибке, в записках его, приложенных к последнему изданию (1838–1841 гг.). 1818-й год весьма четко выставлен на рукописи, с которой взят отрывок, там напечатанный. Кстати напомнить здесь один анекдот из этого времени, заслуживающий внимания. Пушкин от природы был суеверен и весьма расположен к объяснению частных событий таинственными, неведомыми причинами, что, может быть, составляет необходимое условие поэтических, восприимчивых организаций. Однажды он зашел к известной тогда гадалщице на кофе, г-же Кирхгоф, которая предсказала ему встречу с другом и весь разговор с ним, потом неожиданное получение денег и, наконец, преждевременную смерть. Скорое исполнение двух первых предсказаний оставило навсегда в Пушкине убеждение, что и последнее должно сбыться непременно... Вот как он сам рассказывал об этом в 1833 году в Казани г-же А. А. Фукс, из статьи которой («Казанские губернские ведомости», 1844 г., № 2) заимствуем эти строки: «Вам, может быть, покажется удивительным, – начал опять говорить Пушкин, – что я верю многому невероятному и непостижимому; быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. [Севоложским] ходить по Невскому проспекту, и, из проказ, зашли к кофейной гадалщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, – сказала она мне, – на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; а третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью»... «Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании и о гадалщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадалщице. Через несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами; и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен...» Так передала г-жа Фукс слова Пушкина. Брат поэта, Лев Сергеевич, сообщает подробности анекдота, не совсем сходные с этим рассказом, но сущность его остается одна и та же.

и сообщил ему гибкость, множество оттенков и разнообразие, которых он дотоле никогда не имел. Редко прибегал он к другому размеру, а белых стихов и вовсе не понимал, хотя и написал ими еще в лицее две пьесы: «Бова» и «Фиал Анакреона». По прочтении стихотворения В. А. Жуковского «Тленность», начинающегося, как известно, стихами:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,  
Когда взгляну на этот замок Ретлер,  
Приходит в мысль: что, если то ж случится  
И с нашей хижиной?

Пушкин набросал следующую пародию:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,  
Когда взгляну на этот замок Ретлер,  
Приходит в мысль, что, если это проза,  
Да и дурная?..

В. А. Жуковский от души смеялся над пародией молодого человека, но предрекал ему время, когда он переменит мнение свое о белом стихе.

Мерилом, так сказать, всего нравственного бытия нашего поэта остались его тетради: они указывают нам почти безостановочно состояние его духа и путь, который он избирал. Этот поэтический рассказ начинается, однако ж, только с выезда Пушкина из столицы. До появления его в Крыму страницы его тетрадей белы и представляют мало пищи изыскателю. С Крыма открывается эта длинная повесть внутреннего хода его мысли; она, как постоянный указатель нравственного его развития, преимущественно взята нами в руководители при настоящем нашем труде. Друзья Пушкина единогласно свидетельствуют, что, за исключением двух первых годов его жизни в свете, никто так не трудился над дальнейшим своим образованием, как Пушкин. Он сам несколько позднее с упреком говорил о современных ему литераторах: «Мало у нас писателей, которые бы учились; большая часть только разучиваются». Если бы нам не передали люди, коротко знавшие Пушкина, его обычной деятельности мысли, его много-различных чтений и всегдашних умственных занятий, то черновые тетради поэта открыли бы нам тайну и помимо их свидетельства. Исполненные заметок, мыслей, выписок из иностранных писателей, они представляют самую верную картину его уединенного кабинетного труда. Рядом с строками для памяти и будущих соображений стоят в них начатые стихотворения, конченные в другом месте, перерванные отрывками из поэм и черновыми письмами к друзьям. С первого раза останавливают тут внимание сильные пометки в стихах, даже таких, которые, в окончательном своем виде, походят на живую импровизацию поэта. Почти на каждой странице их присутствуешь, так сказать, в середине самого процесса творчества и видишь, как долго, неослабно держалось поэтическое вдохновение, однажды возбужденное в душе художника; оно несколько не охладевало, не рассеивалось и не слабело в частом осмотре и поправке произведения. Прибавьте к этому еще рисунки пером, которые обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя ее, таким образом, вдвойне. Вообще тетради Пушкина составляют драгоценный материал для истории происхождения его поэм и стихотворений, и мы часто будем обращаться к ним в продолжение нашего труда. Поэт наш сам представил верную картину их при описании альбома Онегина:

В сафьяне, по краям окован,  
Замкнут серебряным замком,  
Он был исписан, изрисован

Рукой Онегина кругом.  
Среди бессвязного маранья  
Мелькали мысли, примечанья,  
Портреты, буквы, имена  
И думы тайной письмена.  
(Из неизданного отрывка «Онегина»)

Но до 1820 года мы почти лишены указания тетрадей Пушкина, и этого одного достаточно для определения характера всей эпохи. Мы думаем, что в одном небольшом послании «К К[авери]ну», написанном около 1817 года, выражается лучше и настоящий взгляд автора на самого себя, и вся незатейливая философская система, принятая им в то время:

Все чередой идет определенной,  
Всему пора, всему свой миг:  
Смешон и ветреный старик,  
Смешон и юноша смиренный;  
Пока живется нам – живи  
.....  
.....  
И черни презирай роптанье:  
Она не ведает, что дружно можно жить  
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;  
Что ум высокий можно скрыть  
Безумной шалости под легким покрывалом.

С первого шага своего в свет Пушкин очутился в обществе тогдашних литераторов как известный и заслуженный его член. Он почти совсем не был в положении начинающего. В детстве его В. А. Жуковский нарочно ездил в Царское Село осведомляться о занятиях даровитого питомца лицея и прочитывать ему свои стихотворения. Пушкин обладал необычайной памятью: целые строфы, переданные ему В. А. Жуковским, он удерживал надолго в голове и повторял их без остановки. Жуковский имел привычку исправлять стих, забытый Пушкиным; каждый такой стих считался дурным по одному этому признаку<sup>28</sup>.

По первым своим произведениям Пушкин занесен был также в список «арзамасцев». Известно, что литературное общество, носившее название «Арзамас», составилось из некоторого противодействия к торжественности и отчасти к неподвижности другого литературного общества, имевшего название «Беседы любителей русского слова». Важность обстановки, похожей на заседание, чем вообще отличалась «Беседа любителей», заменена была в «Арзамасе» тоном дружества и шутки. Нерасположение «любителей русского слова» к новым явлениям в нашей литературе подало мысль «арзамасцам» назвать своих участников именами и словами, встречающимися в балладах Жуковского, которые особенно не нравились тогда защитникам «серьезной» поэзии и старых форм стихотворства. Таким образом, были усвоены имена «Старушки», «Громобоя» и друг[их] многими известными лицами в обществе. В. Л.

---

<sup>28</sup> Сам незабвенный Н. М. Карамзин, принимавший Пушкина часто в кабинете своего царскосельского дома, прочитывал ему страницы своего труда, беседовал с ним об отечественной истории и выслушивал мнения юноши с снисхождением и свойственным ему добродушием. Так как записки Пушкина остались только в отрывках и клочках, рассеянных по разным тетрадям, то мы имеем еще клочок о Н. М. Карамзине, полный глубокого уважения и любви к историографу. В нем Пушкин рассказывает, как одним опрометчивым суждением привел он в гнев всегда ясного, всегда спокойного историка, и как в самой благородной горячности еще выказалась его прекрасная душа. Вообще, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин и А. И. Тургенев всегда стояли к Пушкину в тех постоянно нежных дружеских отношениях, которых не мог изменить он сам, а тем менее посторонние люди или обстоятельства.

Пушкин получил однословное «Вот!» в название, а Александру Сергеевичу Пушкину дано имя «Сверчок». Под этим именем напечатал он свою превосходную пьесу «Мечтателю»<sup>29</sup>, где очерк истинной страсти так далеко оставляет за собой прежние легкие, веселые ее определения. Это уже ступень к мужеству таланта, и как большая часть стихотворений Пушкина, пьеса связывается с действительным лицом и действительным событием. Несколько других подробностей об «Арзамасе» тем более необходимы здесь, что без них трудно понять как деятельность нашей полемики между 1815 и 1825 годами, так и многое во взгляде, привязанностях и убеждениях самого Пушкина.

Всякий, кто изучал отечественную литературу первой четверти нашего столетия, вероятно, чувствовал, что ему недостает ключа для понимания многих намеков тогдашней критики и особенно для уяснения отношений между литературными партиями. Статьи филологического и эстетического содержания этой эпохи и даже стихотворения, послания и эпиграммы покрыты легкой тенью, которая мешает видеть сущность дела. Ключ для разбора недосказанных слов и мыслей может подать только изучение существовавших у нас литературных обществ. В 1815 году еще продолжалась борьба, возникшая по поводу нововведений Карамзина, и противники его направления сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова», к членам которого принадлежали многие даровитые люди: в числе их был и кн. Шаховской. Все молодое, желавшее новых форм для поэзии и языка и свежих источников для искусства вообще, пристроилось к другому обществу, «Арзамасу». «Арзамас» порожден был шуткой и сохранял основной характер свой до конца. Один веселый и остроумный рассказ под названием «Видение во граде» вызвал его на свет. В рассказе передан был анекдот о некоторых скромных людях, собравшихся раз на обед в бедный арзамасский трактир. Стол их был покрыт скатертью белизны не совсем беспорочной и несколько не был отягчен изобилием брашен (блюд, пищи. – *Прим. ред.*). В середине беседы прислужник возвестил им, что какой-то проезжий остановился в трактире и, по-видимому, находится в магнетическом сне. Хотя любопытство и приписывается исключительно прекрасному полу, но друзья «Арзамаса» доказали противное. Они отправились наблюдать нового ясновидящего у дверей и увидели высокого, толстого человека, который ходил беспрестанно по комнате, произнося непонятные тирады и афоризмы. Последние они тут же записали, но скрыли все собственные имена, потому что незлобливость и добродушие составляли и составляют отличительную черту «Арзамаса». Едва разнеслась эта шутка, в которой нетрудно было отгадать все тонкие намеки ее, как автор получил приглашение от одного из своих друзей на первый «арзамасский вечер». Продолжая шутку, лица «арзамасского вечера» назвались именами из баллад В. А. Жуковского и, наподобие Французской Академии, положили правило: всякий новоизбранный член обязан был сказать похвальное слово не умершему своему предшественнику, потому что таких не было, а какому-либо члену «Беседы любителей русского слова» или другому известному литератору. Так произнесены были похвальные слова г-ну Захарову, переводчику «Авелевой смерти» Геснера, «Велисария» г-жи Жанлис и «Странствований Телемака» Фенелона, г-ну А. Волкову – автору «Арфы стихоглаской» и мног[им] др[угим]. Секретарь общества В. А. Жуковский вел журнал заседаний, и протоколы его представляют автора «Людмилы» с другой стороны, еще не уловленной биографами, – со стороны вообще веселого характера. Это образцы самой забавной и вместе самой приличной шутки. Нам неизвестно, кому произнес похвальное слово Александр Сергеевич при вступлении своем, но ему дозволено было сказать первую речь свою стихами. Стихи эти, к сожалению, тоже утрачены. Не должно забывать, что веселое направление «Арзамаса» не мешало ему весьма строго ценить произведения в отношении правильности выражения, верности образов и выбора предметов. Орудием насмешки и остроумия «Арзамас» поражал ложные или неудачно изложенные мысли, и Пушкин в стихотворной речи своей

<sup>29</sup> В «Сыне отечества» 1818 года, № LI. Подпись была «Св..ч.к».

недаром упоминал о лозе «Арзамаса», которая достигает провинившихся писателей, несмотря на то, зачислены ли они в список «арзамасцев» или нет.

Отношения «Арзамаса» к другим обществам должны были отразиться на всем литературном движении; но здесь первый повод, а с ним и настоящее значение явлений были уже потеряны для большинства публики; так продолжается и доселе. Например, появление комедий кн. Шаховского «Липецкие воды» – сатиры на произведения В. А. Жуковского – и «Новый Стерн» – сатиры на произведения Н. М. Карамзина – только теперь несколько объясняется в глазах исследователя. С них началась жаркая полемика, в которой особенно отделяется от всех бойкостью и меткостью своих заметок кн. П. А. Вяземский, стоявший, разумеется, на стороне авторитетов, обиженных нашим комиком. Еще в «Сыне отечества» 1815 года (№ XVI) является его статья «Мнение постороннего», где, не принимая попыток примирения, сделанных М. Н. Загоскиным в комедии своей «Комедия против комедии», он горячо высчитывает ряд оскорблений, нанесенных лилипутами словесности лицам и именам истинных писателей. Сам В. А. Жуковский в послании к Вяземскому и Пушкину (Василью), напечатанном в «Русском музее» 1815 года (№ 6) и не попавшем в последнее собрание его сочинений 1848 года, глубоко жалуется на завистников, омрачающих благородное поприще литератора, и дает советы друзьям, как сберечь свое призвание и творческие идеи в шуме людей, не понимающих ни того, ни другого. В известном ответе своем на это послание («К Жуковскому» – «Благослови, поэт!..») А. С. Пушкин рисует картину враждебных личностей и направлений, уже вызвавших столько жалоб и возражений. Наконец, даже Батюшков, в первой рукописной редакции своего стихотворения «Видение на берегах Леты», ходившей по рукам и измененной впоследствии, обрекал Лете и забвению те лица, которые упорно держались старых форм и смотрели недоброжелательно на попытки разрабатывать новые стороны искусства. Не говорим уже о многих мелких статьях, эпиграммах, баснях и посланиях.

Когда в двадцатых годах стали обнаруживаться в литературе нашей идеи романтизма в противоположность идеям классицизма, то «Арзамас» и враждебное ему направление отделились еще резче и явственнее. Можно сказать, что идеи романтизма находились уже в «Арзамасе» прежде появления их в нашей литературе.

Сторона противудействующая нашла тогда представителя в «Вестнике Европы» М. Т. Каченовского и в столкновениях ее с новыми теориями искусства обнаружила последовательность, какой не было прежде. Споры происходили теперь уже преимущественно по поводу произведений Александра Сергеевича, как прежде предметом их были Карамзин и Жуковский, но приемы, направление и мысли почти одинаковы у почитателей нового деятеля. Князь П. А. Вяземский является и здесь первым защитником его. В 1821 г. он напечатал в «Сыне отечества» (№ 2) свое едкое послание к Каченовскому, которое, во многих местах, было буквальным переводом Вольтерова стихотворения «De l'Envie». <sup>30</sup> К 1824 году принадлежит его жаркая полемика с «Вестником Европы» по поводу «Бахчисарайского фонтана» и «Разговора», приложенного к нему, и наконец только в 1825 году следы борьбы «Арзамаса» со старой партией защитников прежних форм искусства пропадают совсем или принимают другой вид. Так важно было влияние «Арзамаса» на литературу нашу, и надо прибавить к этому, что Пушкин уже сохранил навсегда уважение как к лицам, признанным авторитетами в среде его, так и к самому способу действия во имя идей, обсужденных целым обществом. Он сильно порицал у друзей своих попытки разъединения, проявившиеся одно время в виде нападков на произведения Жуковского, и вообще все такого же рода попытки, да и к одному личному мнению, становившемуся наперекор мнению общему, уже никогда не имел уважения.

Много и других литературных обществ существовало тогда в обеих столицах; так, в Москве было «Общество любителей словесности», в Петербурге – «Общество любителей сло-

<sup>30</sup> «О желании» (фр.).

весности, наук и художеств» и «Общество соревнователей просвещения и благотворения»<sup>31</sup>. Последнее издавало журнал, а второе печатало свои труды по большей части в журнале «Благонамеренный». Московское общество держалось весьма долго, оно также издавало журнал под названием «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете», в котором, как мы видели, печатались первые опыты Пушкина. Журнал этот прекратился в 1827 году. Кроме самих обществ были еще кружки, составлявшие, так сказать, повторение их, но в уменьшенном виде; таков был незабвенный круг А. Н. Оленина, имевший, как известно, важную долю влияния на современную литературу. Вечера В. А. Жуковского также принадлежат к этой цепи небольших частных академий, где молодые писатели получали и первую оценку, и первые уроки вкуса. Влияние всех этих официальных и неофициальных собраний на просвещение вообще еще не нашло у нас оценки, даже и приблизительной. Хотя Пушкин не принадлежал к некоторым из них, однако же следил равно внимательно за их занятиями. Надо прибавить, что они уничтожены были столько же временем, сколько и распространением круга писателей, вследствие общего разлива сведений и грамотности. С увеличением класса авторов сделались невозможны и те труды сообща, та взаимная передача замыслов и планов литературных, обсуждение начатых произведений всеми голосами, единство направления, – словом, все те особенности, которые заставляют старожилов, по справедливости, вспоминать с умилением об этой эпохе нашего литературного образования. Сам Пушкин, создавший так много новых читателей на Руси и не менее того стихотворцев, сильно способствовал уничтожению дружеских литературных кругов; но вместе с тем он сохранил до конца своей жизни, как уже мы сказали, существенные, характеристические черты члена старых литературных обществ и уже не имел симпатии к произволу журнальных суждений, вскоре заместившему их и захватившему довольно обширный круг действия.

Батюшков проездом в Неаполь, где суждено ему было испытать первые симптомы болезни, отнявшей его еще заживо от света русской поэзии, находился в Петербурге и слышал первые песни «Руслана и Людмилы» на вечерах у Жуковского, где они обыкновенно прочитывались. Известно, что после чтения последней из них Жуковский подарил автору свой портрет, украшенный надписью: «Ученику от побежденного учителя». Батюшков, с своей стороны, нередко с изумлением смотрел, как антологический род поэзии, созданный им на Руси, легко и непринужденно подчиняется перу молодого человека, занятого, по-видимому, только удовольствиями и рассеяниями света. Тогда уже были написаны те замечательные стихотворения Пушкина, для которых содержанием послужил древний, языческий мир: «Торжество Вакха», «Кривцову» и проч. Рассказывают, что Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал «Послание к Ю[рь]еву» («Поклонник ветреных Лаис...», 1818 г.) и проговорил: «О! как стал писать этот злодей!» И действительно, во многих стихотворениях этой эпохи врожденная сила таланта проявлялась у Пушкина сама собой, заменяя, при случае, гениальной отгадкой то, чего не мог еще дать жизненный опыт начинающему поэту.

Пушкин легко подчинялся влиянию всякой благородной личности. В эту эпоху жизни мы встречаем влияние на него замечательного человека и короткого его приятеля П. А. Катенина. Пушкин просто пришел в 1818 году к Катенину и, подавая ему свою трость, сказал: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей – но выучи!» – «Ученого учить – портить!» – отвечал автор «Ольги». С тех пор дружеские связи их уже не прерывались. П. А. Катенин был знаток языков и европейских литератур вообще. Можно основательно сказать, что Пушкин обязан отчасти Катенину осторожностью в оценке иностранных поэтов, литературным эклектизмом и особенно хладнокровием при жарких спорах, скоро возникших у нас по поводу клас-

<sup>31</sup> Общество это носило еще название высочайше утвержденного «Вольного общества любителей русской словесности». Журнал его «Соревнователь» снабжался особенной оберткой, по окончании каждой части, с заглавием «Труды высочайше утвержденного и проч.». Пушкин поместил в нем с 1819 года 5 пьес: «Эпиграмму» («Марает он единым духом...»), «Дева» («Я говорил тебе: страшися...»), «Мила красавица», «Желание славы», «Елизавете».

сизма и романтизма. Стойкость суждения Катенина научила его видеть достоинства там, где, увлекаемые спором, уже ничего не находили журналы наши. Независимость убеждений П. А. Катенина простиралась до того, что, сделав несколько опытов в романтической поэзии, он тотчас же перешел к противной стороне, как только число сподвижников нового рода произведений достаточно расплодилось. Катенин, между прочим, помирил Пушкина с кн. Шаховским в 1818 г. Он сам привез его к известному комику, и радушный прием, сделанный поэту, связал дружеские отношения между ними, несколько, впрочем, не изменившие основных убеждений последнего. Тогдашний посредник их записал слово в слово любопытный разговор, бывший у него с Пушкиным, когда оба они возвращались ночью в санях от кн. Шаховского. «*Savez-vous, – сказал Пушкин, – qu'il est très bon homme au fond? Jamais j'en croirai qu'il ait voulu nuire sérieusement à Ozerow, ni à qui que ce soit.*» – «*Vous l'avez cru pourtant, – отвечал Катенин, – vous l'avez écrit publié; voilà le mal.*» – «*Heureusement, – возразил Пушкин, – personne n'a lu ce barbouillage d'écolier; pensez-vous qu'il en sache quelque chose?*» – «*Non, car il ne m'en a jamais parlé.*» – «*Tant mieux, faisons commelui, et n'en parlons jamais.*»<sup>32</sup> Так точно П. А. Катенин помирил Александра Сергеевича и с А. М. Колосовой, дебюты которой поэт наш встретил довольно злой эпиграммой. Известно его поэтическое раскаяние в грехе, заключающееся в небольшом стихотворении «Кто мне пришлет ее портрет?..». Вообще П. А. Катенин заметил в эту эпоху характеристическую черту Пушкина, сохранившуюся и впоследствии: осторожность в обхождении с людьми, мнение которых уважал, ловкий обход спорных вопросов, если они поставались слишком решительно. Александр Сергеевич был весьма доволен эпитетом «*le jeune M-r Arouet*»,<sup>33</sup> данным ему за это качество приятелем его, и хохотал до упада над каламбуром, в нем заключавшимся. Может быть, это качество входило у Пушкина отчасти и в оценку самих произведений Катенина. Известно, что вместе с достоинством хладнокровного критика Пушкин признавал в нем и замечательные творческие способности. Он даже сердился на московских литераторов, не понимавших поэтической важности баллад и переводов его друга, разделяя, впрочем, благоприятное мнение о произведениях П. А. Катенина со многими из известных своих современников. Так, Грибоедов предпочитал «Ольгу» Катенина «Людмиле» Жуковского, с которой она имела одинаковое содержание и которую превосходила, по мнению автора «Горя от ума», цветом народности и планом. Пушкин написал целую статью о сочинениях его («Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» 1833, № 26), сохраненную в нашем издании, и прежде того еще сделал лестную заметку в «Северных цветах» 1829 года, посылая туда одно из его стихотворений<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> «Знаете ли, что он, в сущности, очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было». – «Однако вы так думали; так писали и даже обнародовали; вот что плохо». – «К счастью, никто не читал эту мазню школьника; вы думаете, он что-нибудь знает о ней?» – «Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом». – «Тем лучше, последуем его примеру и тоже никогда не будем говорить об этом» (фр.).

<sup>33</sup> «Юный господин Аруэ» (фр.). – игра слов: Arouet (фамилия Вольтера) и a rouet – достойный виселицы. Это прозвание пристало к Пушкину.

<sup>34</sup> Это был рассказ П. А. Катенина, под названием «Русская бль», напечатанный в альманахе со следующим примечанием: «За стихотворение сие обязаны мы А. С. Пушкину, который доставил нам оное при следующем письме: «П. А. Катенин дал мне право располагать этим прекрасным стихотворением. Я уверен, что вам будет приятно украсить им ваши «Северные цветы». Пусть вспомнят читатели, что в рассказе П. А. Катенина князь Владимир присутствует на состязании певцов и присуждает женоподобному греку-певцу коня и латы, а русскому его сопернику заветный кубок, данный Святославу императором Цимисхием. «Старая бль» П. А. Катенина, посвященная Пушкину, еще сопровождалась стихотворным посланием к Александру Сергеевичу, в котором автор рассказа, невинно и тонко посмеявшись над романтиками и археологами, т. е. над двумя литературными кругами нашими, говорит, что заветный кубок не потерян и находится теперь в руках автора «Онегина». Пушкин не решился напечатать это послание вместе с рассказом; оно явилось только в 1832 году в «Сочинениях» Катенина (часть 1-я, стр. 98). Пушкин поместил один свой ответ на него в тех же «Северных цветах» за 1829 год. Это известная пьеса под названием «Ответ Катенину», которая начинается стихами: Напрасно, пламенный поэт, Свой чудный кубок мне подносишь — И выпить на здоровье просишь: Не пью, любезный мой сосед! и которая без пояснения остается каким-то темным намеком. Всего любопытнее, что когда несколько лет спустя Катенин спрашивал у него, почему не приложил он к «Старой бль» и послания, то в ответах Пушкина ясно увидел, что намеки на обратную были истинными причинами исключения этой пьесы. Так вообще был осторожен Пушкин в спокойном состоянии духа!

В дополнение к этому мы прибавим, что, несмотря на приятельские отношения наших авторов, была в жизни их минута недоразумения, которая особенно заслуживает упоминания по благородству, с каким обе стороны отстранили ее почти тотчас же. Пушкин находился уже в Кишиневе, когда в Петербурге давали переводную комедию Катенина «Сплетни», где, как утверждали, заключается намек на отсутствующего поэта<sup>35</sup>. П. А. Катенин, живший в деревне, нашел с своей стороны намек на самого себя в пушкинском послании к Ч[аадае]ву, написанном в 1821 году, и именно в одном стихе его:

И сплетней разбирать игривую затею.

Но первое объяснение уничтожило все недоразумения. Вот письмо Пушкина по этому поводу:

«Ты упрекаешь меня в забывчивости, мой милый: воля твоя! Для малого числа избранных желаю еще увидеть Петербург. Ты, конечно, в этом числе, но дружба – не италийский глагол *riombare*,<sup>36</sup> ты ее также хорошо не понимаешь. Ума не приложу, как ты мог взять на свой счет стих:

И сплетней разбирать игривую затею.

Это простительно всякому другому, а не тебе. Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием об них? Я не читал твоей комедии; никто об ней мне не писал; не знаю, задел ли меня Зельский. Может быть, да, вероятнее – нет. Во всяком случае, не могу сердиться. Если б я имел что-нибудь на сердце, стал ли бы я говорить о тебе наряду с теми, о которых упоминаю? Лица и отношения слишком различны. Если б уж на то решился, написал ли стих столь слабый и неясный, выбрал ли предметом эпиграммы прекрасный перевод комедии, которую почитал я непереводаемой? Как дело ни верти, ты все меня обижаешь. Надеюсь, моя радость, что это все минутная туча и что ты любишь меня. Итак, оставим сплетни и поговорим о другом. Ты перевел «Сида»; поздравляю тебя и старого моего Корнеля. «Сид» кажется мне лучшею его трагедиею. Скажи, имел ли ты похвальную смелость оставить пощечину рыцарских веков на жеманной сцене 19 столетия? Я слышал, что она неприлична, смешна, *ridicule*. *Ridicule!* Пощечина, данная рукою гишпанского рыцаря воину, поседевшему под шлемом! *ridicule!* Боже мой, она должна произвести более ужаса, чем чаша Атреева. Как бы то ни было, надеюсь увидеть эту трагедию зимой, по крайней мере постараюсь. Благодарю за подробное донесение, знаю, что долг платежом красен, но *non erat his locus*...<sup>37</sup> Прощай, Эсхилл, обнимаю тебя как поэта и друга... 19 июля».

Прилагаем несколько других писем Пушкина к Катенину, которые чрезвычайно много способствуют к объяснению нравственной физиономии первого. Все они принадлежат 1825 году и писаны уже из Михайловского. Кроме прямого свидетельства о влиянии Катенина на поэта нашего, они еще служат примером его уклончивости с людьми, происходившей от тонкости чувства и деликатности сердца. Будучи «арзамасцем» по направлению своему, Пуш-

<sup>35</sup> «Сплетни, комедия в трех действиях в стихах» Павла Катенина, подражание Грессетовой комедии «*Le Mechant*» (С.-Пб., 1821) представлена была в Петербурге 31 декабря 1820 г. Клеон Грессета переродился у П. А. Катенина в Зельского, но мы никак не могли угадать в тирадах последнего какого-либо намека на Пушкина. Следует сказать, между прочим, что выходки Зельского против современных странностей и обычаев были предтечами, а может быть, и родоначальниками сатирических вспышек Чацкого... Кто знает связь идей, которая существует в известные эпохи между писателями, тот поймет наше предположение. Мы имели, например, в руках неизданную рукописную комедию в прозе «Студент», соч. Катенина и Грибоедова. Действие в ней очень просто. Вздбалмошный и упрямый Звонов хочет выдать воспитанницу свою за студента, который говорит не иначе как тирадами из модных писателей. Дело кончается женитьбой молодого, умного человека на воспитаннице. Комедия осталась под спудом, но мысль ее одинакова с «Новым Стерном» князя Шаховского. Все это было только косвенным ответом «арзамасцам».

<sup>36</sup> Падать, рушиться; заклепывать (ит.).

<sup>37</sup> Здесь не место для этого (лат.).

кин находил одобрителные слова для добросовестного труда во всех литературных партиях. Истинную мысль свою берег он только для себя и для немногих, как увидим после.

1) «Ты не можешь себе вообразить, милый и почтенный Павел Александрович, как обрадовало меня твое письмо, знак неизменившейся твоей дружбы... Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, но на любви к одинаковым занятиям. Ты огорчаешь меня уверенным, что оставил поэзию – общую нашу любовницу. Если это правда, что ж утешает тебя, кто утешит ее?.. Я думал, что в своей глуши – ты создаешь; нет – ты хлопчешь и тягаешься – а между тем годы бегут.

*Neu fugant, Posthume, Posthume, labuntur anni*<sup>38</sup>.

А что всего хуже, с ними улетают и страсти, и воображение. Послушайся, милый, запись да примись за романтическую трагедию в 18 действиях (как трагедии Софии Алексеевны). Ты сделаешь переворот в нашей словесности, и никто более тебя того не достоин. Прочел в Булг[арине]<sup>39</sup> твое 3-е действие, прелестное в величавой простоте своей. Оно мне живо напомнило один из лучших вечеров моей жизни; помнишь?.. На чердаке к[нязя] Шаховского.

Как ты находишь первый акт «Венцеслава»? По мне чудно хорошо<sup>40</sup>. Старика Rotrou, признаюсь, я не читал, по-гишпански не знаю, а от Жандра в восхищении, кончена ли вся трагедия? Что сказать тебе о себе, о своих занятиях? Стихи покамест я бросил и пишу свои *memoires*, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь; 4 песни «Онегина» у меня готовы, и еще множество отрывков; но мне не до них. Радуюсь, что 1-я песнь тебе по нраву – я сам ее люблю; впрочем, на все мои стихи я гляжу довольно равнодушно, как на старые проказы с К[авериным?], с театральным майором и проч.: больше не буду! – Addio, Poeta, a rivederla, ma quando?..».<sup>41</sup> На адресе штемпель: Опочка 1825, сентября 14.

2) «Письмо твое обрадовало меня по многим причинам: 1) что оно писано из П[етер]б[урга], 2) что «Андромаха» наконец отдана на театр, 3) что ты собираешься издать свои стихотворения, 4) (и что должно было бы стоять первым) что ты любишь меня по-старому... Как бы хорошо было, если нынешней зимой я был свидетелем и участником твоего торжества! Участником – ибо твой успех не может быть для меня чуждым. Мне, право, совестно, что тебе так много наговорили о моих «Цыганах». Это годится для публики, но тебе надеюсь я представить что-нибудь более достойное твоего внимания. – «Онегин» мне надоел и спит; впрочем, я его не бросил. Радуюсь успехам Каратыгина и поздравляю его с твоим одобрением. Признаюсь – мочи нет хочется к вам. Прощай, милый и почтенный, – вспомни меня во время первого представления «Андромахи». 4 декабря».

Гораздо яснее и решительнее высказывает Пушкин свои чувства в третьем прилагаемом здесь письме.

3) «Отвечаю тебе по порядку. Стихи о Колосовой были написаны в письме, которое до тебя не дошло. Я не выставил полного твоего имени, потому что с Катениным говорить стихами только о ссоре моей с актрисой показалось бы немного странным.

Будущий альманах<sup>42</sup> радует меня несказанно, если разбудит он тебя для поэзии. Душа просит твоих стихов; но знаешь ли что? Вместо альманаха, не затеять ли нам журнала вроде «Edinburgh Review»?<sup>43</sup> Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать

<sup>38</sup> Настоящий стих Горация в его оде к Постуму (книга 2, ода XIV) таков: *Neu heu fugaces, Postume, Postume, Labuntur anni*. (Увы, Постум, утекают бегущие годы.)

<sup>39</sup> В альманахе «Русская Талия», изд. г-на Булгарина (1825), где было помещено несколько явлений 3-го действия «Андромахи» г-на Катенина.

<sup>40</sup> В том же альманахе г-на Булгарина было напечатано несколько сцен из трагедии «Венцеслав», соч. Ротру, переделанной А. А. Жандром.

<sup>41</sup> Прощай, поэт, до свиданья, но когда? (ит.).

<sup>42</sup> «Невский альманах» г-на Аладына, в судьбе которого П. А. Катенин принимал участие.

<sup>43</sup> «Эдинбургское обозрение» (англ.).

в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты русской словесности: как думаешь? Да что «Андромаха» и собрание твоих стихов?»

Нельзя пропустить в этом перечете людей, окружавших Пушкина, друга его – Дельвига. Дельвиг был истинный поэт, но поэт в душе, лишенный способности воспроизведения своих созданий. От него чрезвычайно много ожидали и, как кажется, особенно за способность развивать планы новых произведений и вообще придумывать содержание поэм. Строгость идеи, глубина чувства, значение лиц и происшествий в его неосуществленных фантазиях были таковы, что раз В. А. Жуковский при рассказе об одной из замышляемых им поэм сказал, обнимая будущего ее творца: «Берегите это сокровище в себе до дня его рождения», – но день рождения не наступил. Известно, что Пушкин с негодованием говорил о невнимании, с каким встретила публика произведения вдохновенного юноши Дельвига, между тем как стихи одного из его товарищей, имевшие, может быть, одно достоинство – гладкость, замечает Пушкин, принимались как некое диво. С юга России он умолял Дельвига написать поэму и говорил: «Поэма мрачная, богатырская, сильная, байроническая – твой истинный удел». Таков был первый взгляд Пушкина на характер поэзии, доступный его лицейскому товарищу, с которым он делил еще на ученической скамье свои авторские тайны и стремления. Впоследствии взгляд Пушкина на поэтическую способность Дельвига значительно изменился, что можно видеть из следующего отрывка: «Идиллии Дельвига, – писал Пушкин уже спустя несколько лет после смерти его, – для меня удивительны: какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы; эту роскошь, эту негу, эту прелесть, более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах, тонкого, запутанного в мыслях, лишнего, неестественного в описаниях». В постоянных разговорах с Дельвигом об искусстве и в обществе его Александр Сергеевич достиг замечательного 1819 года.

1819 год весьма важен в биографии и жизни Пушкина. Можно считать его эпохой появления настоящей пушкинской поэзии, проблески которой старались мы уловить и прежде. В этот замечательный год обнаруживается впервые настоящая манера поэта, и сам он, видимо, сознает качества своего таланта. 1819 год открывается стихотворением «Увы! зачем она блистает...», где глубокое чувство облечено в такое простое, трогательное и вместе мелодическое выражение, что пьеса может назваться родоначальником всех последующих лирических песен его в этом роде. Тогда же начинает сильно выказываться другое замечательное качество Пушкина – разнообразие его впечатлений, беспрестанная деятельность, так сказать, вдохновения, порождаемого самыми противоположными предметами. Стихотворения «Уединение», «Домовому» рядом с упомянутой элегией доказывают это как нельзя лучше. Наконец, в конце года является и задушевная исповедь Пушкина – это драгоценное достояние русской поэзии, доказывающее одинаково и силу его гения, и глубину его сердца. Задушевной исповедью он и замыкается:

Художник-варвар кистью сонной  
Картину гения чернит,  
И свой рисунок беззаконный  
Над ней бессмысленно чертит.  
\* \* \*

Но краски чуждые, с летами,  
Спадают ветхой чешуей;

Созданье гения пред нами  
Выходит с прежней красотой.

\* \* \*

Так исчезают заблужденья  
С измученной души моей,  
И возникают в ней виденья  
Первоначальных, чистых дней.

## Глава IV «Руслан и Людмила». 1820 г.

*«Руслан и Людмила». – Анекдот о заклеенной бумажке. – Появление «Руслана» в 1820 г. – Публика, писатели старой школы, И. И. Дмитриев, русская сказка, Каченовский. – Тайная насмешка поэта над чопорностью прежних русских песен и рассказов и над холодной эпической торжественностью. – Поклонники Пушкина. – Отношение «Руслана» к поэме Ариоста. – Холодность поэмы и тщательность отделки. – Вопросы Зыкова. – Критика на «Руслана и Людмилу» в «Сыне отечества» (1820, часть LXIV). – Эпиграмма Крылова, рецензия в «Невском зрителе» (1820 г., часть 3). – Прием в публике. – Значение Пушкина как воспитателя изящного чувства и вкуса в народе.*

В 1819 году кончена была и поэма «Руслан и Людмила», напечатанная только в следующем, 1820 году, но она принадлежит еще к первому отделу поэтической деятельности Пушкина. Задуманная на скамьях лицея, продолжаемая в летние его поездки в село Михайловское, она совершенно была окончена только на Кавказе, откуда (1820 г.) прислан был известный ее эпилог. По мере того как она создавалась, ее обсуживали, как мы видели, голосами известных литераторов на вечерах Жуковского, и она составляла, вместе с другими предметами, содержание долгих бесед Пушкина с Дельвигом и друзьями. Пушкин жил в это время с семейством своим на Фонтанке у Калинкина моста, в доме бывшем Клокачева, и часто провожал Дельвига на квартиру его от себя и от Жуковского, ко Владимирской, толкуя обо всем, что читали и говорили у последнего. Считаю обязанностью сохранить один анекдот, показывающий его уважение к певцу «Людмилы». В. А. Жуковский часто вместо переписки стиха, которым был недоволен, заклеивал его бумажкой с другим, новым. Раз на вечере у Д. Н. Б[лудова] один из чтецов нового произведения Жуковского, вероятно, недовольный переменой, сорвал такую бумажку и бросил на пол. Пушкин тотчас же поднял ее и спрятал в карман, сказав весьма важно: «Нам не мешает подбирать то, что бросает Жуковский».

Появление «Руслана и Людмилы» встречено было с восторгом публикой и с недоумением теми людьми, которые видели в ней унижение поэзии и вообще достоинства литературы, в чем упрекали, как известно, и преобразования Н. М. Карамзина, совершенные им несколько лет назад в русском языке и в русской словесности. К числу недовольных принадлежал и Дмитриев, питавший, впрочем, несомненное уважение к таланту Пушкина. Дело шло, собственно, о русской сказке как о предмете для эпопеи. Теперь всякому ясно, что поэма «Руслан и Людмила» весьма далеко отстоит – по духу, выражению и облику самих героев – от народной сказки; но тогда разница не вполне понималась и подала повод к весьма любопытным спорам.

Когда появился в «Сыне отечества» 1820 года (№ № XV и XVI) первый отрывок из «Руслана и Людмилы», «Вестник Европы» сделался эхом ужаса, возбужденного в некоторых людях этим вводом сказочного русского мира в область поэзии: «Обратите ваше внимание на новый ужасный предмет, – говорил он, – возникающий посреди океана российской словесности... Наши поэты начинают пародировать Киришу Данилова... Просвещенным людям предлагают поэму, писанную в подражание Еруслану Лазаревичу». Критик «Вестника Европы» еще допускает собиранье русских сказок, как собирают и «безобразные старые монеты», но уважения к ним не понимает. Выписав сцену Руслана с головой, критик восклицает: «Но увольте меня от подробного описания и позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бороною, в армяке, в лаптях и закричал зычным голосом: «Здорово, ребята!», неужели бы стали таким проказни-

ком любоваться?.. Зачем допускать, чтоб плоские шутки старины снова появлялись между нами?» («Вестник Европы», 1820 г., № XI).

Вопрос о народной поэзии был поставлен очень резко, как видим. Журнал, поднявший его, имел явные и тайные симпатии даже и таких людей, которым знакомы были итальянские и немецкие волшебные поэмы, но которым фантастический мир русских народных сказаний казался диким и неблагородным.

В «Руслане и Людмиле» заключалось и другое зерно вражды, именно тайная насмешка поэмы над чопорностью прежних так называемых русских песен и рассказов из народной жизни. Холодная эпическая торжественность не была и в то время редкостью, но она имела соперницу в элегической и несколько жеманной подделке сказочных лиц и простонародных песен. Ничего подобного не было в поэме «Руслан и Людмила». Она отличалась беспрестанными отступлениями, неожиданными обращениями к разным посторонним предметам, свободным течением рассказа и насмешливостью. Сам автор как будто шутит над сказочными мотивами, которые употребляет в дело, над собственными приемами и образами. При некотором внимании легко можно заметить сатирическое направление поэмы, которое вышло раз наружу само собой и весьма ярко – именно в 4-й главе, где помещена пародия на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Все это вместе взятое казалось многим не только дерзким нововведением, но почти разрывом со всеми преданиями искусства.

Поклонники Пушкина особенно были затронуты последним обвинением. Им нельзя было оставить первое произведение любимого поэта бобылем в русской словесности. Они постарались приискать ему знаменитых предков у себя и на стороне: «Душеньку» Богдановича, «Оберона» Виланда, «Неистового Орландо» Ариоста. Мнение о сходстве «Руслана и Людмилы» с «Неистовым Орландом» особенно долго держалось, хотя и оно столь же мало может устоять при проверке, как и предполагаемое сходство поэмы с русскими сказками. Внешней своей формой, оставлением героев своих посреди действия и возвращением к ним после долгого обхода, «Руслан» приближается к манере феррарского поэта, но в нем нет и признака той долгой, постоянной страсти, перемешанной с иронией, какими отличается «Орланд». В русской поэме все молодо, свежо, исполнено порывов чувства, а не страсти, игривой насмешливости, а не иронии. Это был, по нашему мнению, последний блестящий метеор того же французского влияния, под которым Пушкин находился так долго.

Пушкин удивлялся впоследствии, что не заметили холодности его поэмы, но этому была весьма основательная причина: прелесть картин, свежесть всех молодых ощущений отводили глаза и мешали видеть, что за всем этим нет истинного чувства. Необычайно тщательная отделка лишила ее, может быть, и последних его проблесков. Отделка эта выказалась еще строже во втором издании 1828 года, с которого печатались все последующие; там было пропущено и переделано более 12 мест, но зато присоединено было вступление, которое по сказочному духу и народным краскам превосходит всю поэму. Благодаря такому упорному труду стих поэмы сохраняет постоянно хрустальную прозрачность и плавность изумительную, но лишен точности, поэтического лаконизма и долго извивается вокруг предмета грациозными кругами, прежде чем успеет охватить его со всех сторон. Все это могли мы заметить благодаря самому Пушкину, научившему нас понимать своими последующими произведениями настоящее достоинство и стиха, и создания. Позднее Пушкин заметил еще, что кроме «Вестника Европы» и весьма дельных вопросов, изобличающих слабость создания поэмы, поэма «Руслан и Людмила» принята была благосклонно. Эти вопросы, напечатанные в «Сыне отечества» (1820, часть LXIV), принадлежали перу одного молодого человека, дилетанта в нашей литературе, рано похищенного смертью<sup>44</sup>. Они составляют род лаконического допроса, где

---

<sup>44</sup> Гвардейскому офицеру Дм. Петр. Зыкову, умершему 30 лет от роду, как поясняет П. А. Катенин. Вот как описывает он молодого автора. «Сочинителя статьи открыл я несколько недель спустя в Дм. Петр. Зыкове. Этот умный молодой человек,

истинно дельное перемешивается иногда с весьма капризными и произвольными требованиями, как это можно видеть из начала их, здесь приводимого:

«Зачем Финн дожидался Руслана?»

Зачем рассказывает Руслану свою историю и как может Руслан в таком несчастном положении с жадностью «внимать рассказы» (или по-русски рассказам) старца?

Зачем Руслан присвистывает, отправляясь в путь: показывает ли это огорченного человека? Зачем Фарлаф с своей трусостью поехал искать Людмилы? Нам скажут: затем, чтоб упасть в грязный ров: *et puis on en rit et cela fait tou-jours plaisir...*<sup>45</sup> и проч.

Младенческое состояние тогдашней критики особенно проявилось в разборе поэмы при выходе ее вполне («Сын отечества», часть LXIV, 1820 года), подписанном буквою В. Уже с этой ранней эпохи все рецензии на Пушкина были ниже его, и он имел полное право говорить впоследствии, что ничему от них не выучился. Верное эстетическое чувство в оценке его произведений явилось незадолго до его смерти и было им же воспитано и приготовлено. Рецензент «Сына отечества» рассказывает содержание поэмы собственной своей прозой, определяет характеры героев общими чертами, вроде следующих:

«Руслан великодушен, храбр, чувствителен, ретив, ... но вспыльчив и нетерпелив. Он напоминает Ахиллеса... Людмила веселонравна, резва, верна любви своей, нежна и сильна душа ее, непорочно сердце...» и проч., пересчитывает описательные места и шуточные стихи, прибавляя: «Ныне сей род поэзии называется романтическим». Не забыт, разумеется, и упрек в излишней вольности фантазии, который сделался потом избитым орудием литературного спора. Критик заключает свою статью, по обыкновению, разбором выражений, находит непонятным между прочим «могильный голос» («Не голос ли это какого-нибудь неизвестного нам музыкального орудия?» – говорит он) и останавливается с изумлением перед выражением «немой мрак». «Смело до непонятности, – замечает он, – и если допустить сие выражение, то можно будет напечатать: говорящий мрак, болтающий мрак, болтун мрак...» и проч.

И. А. Крылов, часто умалчивавший о странностях в людях и в обществе, но всегда понимавший их, написал эпиграмму, ходившую тогда по рукам:

Напрасно говорят, что критика легка.  
Я критику читал «Руслана и Людмилы»:  
Хоть у меня довольно силы,  
Но для меня она ужасно как тяжка!<sup>46</sup>

Восторг публики и особенно той части ее, которая увлеклась нежными или роскошными описаниями, заключающимися в поэме, должен был с избытком вознаградить автора за

---

страстный к учению, несмотря на военного ремесла заботы, успел ознакомиться почти со всеми древними и новыми европейскими языками, известными по изящным произведениям. Он был не только скромн, но даже стыдлив и, не доверяя еще себе, тайл свои занятия от всех. Ранняя смерть на 30 году не позволила ему сотворить имя свое общеизвестным и уничтожила надежды его приятелей». Любопытно, однако ж, что Пушкин приписал «Вопросы» Катенину и при первом свидании с ним в театре сказал: «Критика твоя немножко колется, но так умна и мила, что за нее не только нельзя сердиться, но даже...» П[авел] А[лександрович] перебил его, отказываясь от незаслуженной чести, и даже устроил очную ставку с первым распутателем ложного слуха, но, кажется, это не помогло. Пушкин притворился, что верит отречению, но через год писал опять из Кишинева к брату своему, остававшемуся тогда в Петербурге: «Что делает Катенин? Он ли задавал Воейкову вопросы в «Сыне отечества» прошлого года? Кто на ны?»

<sup>45</sup> И потом над этим смеются, и это всем доставляет удовольствие (фр.).

<sup>46</sup> Эпиграмма эта, вместе с другой, тогда же была напечатана в «Сыне отечества», 1820, № XXXVIII. Кстати о журнальных толках. Прилагаем еще первые строки рецензии на поэму, какие находим в журнале «Невский зритель» 1820 г. (часть третья, июль). Они особенно замечательны тем, что составляют отголосок мнения даже друзей Пушкина. (Известно, что в числе редакторов журнала были многие короткие приятели поэта): «Чрезвычайная легкость и плавность стихов, отменная версификация составляли бы существенное достоинство сего произведения, если бы пиитические красоты, в нем заключающиеся, не были перемешаны с низкими сравнениями, безобразным волшебством, сладострастными картинками и такими выражениями, которые оскорбляют хороший вкус». Глава V

несколько придирчивых замечаний. Публика готова была всюду следовать за певцом своим по этой легкой и цветистой дороге; но поэт, которому суждено было сделаться воспитателем эстетического чувства в нашем отечестве, вскоре избрал другой путь. Можно сказать без преувеличения, что учитель изящного, данный в нем публике, был не ниже своих обязанностей. Его неистощимая сила, разнообразие его таланта, овладевшего образами как своей народной, так и чужестранной поэзии с одинаковой мощью, наконец, истина и глубина чувства давали призванию его вид законности, которую тщетно хотели оспорить его противники. Заслуги Пушкина как воспитателя художественного чувства в обществе еще не оценены вполне, но с этой точки зрения литературное его поприще приобретает особенную важность.

## Глава V

### Екатеринославль, Кавказ, Крым. 1820 г.

*Поводы к удалению Пушкина из С.-Петербурга в 1820 г. – Пушкин в Екатеринославле, болезнь, Инзов, Раевский. – Записка доктора Рудыковского о встрече с Пушкиным. – Отъезд на Кавказские воды, эпилог к «Руслану». – Пушкин выбривает голову и носит оригинальный костюм. – Строфа из «Онегина» о наряде: «Носил он русскую рубашку...». – О Кавказе из «Путешествия в Арзрум». – Обратный путь с Кавказа, Кубань, Тамань, Крым. – Важный переворот в нравственном состоянии. – Стихотворение «Погасло дневное светило...». – Антологические стихотворения как следы сближения с А. Шенье. – Керчь, письмо к Дельвигу о Южном берегу. – Пребывание на Южном берегу, подробное изложение всего путешествия на юг в письме Пушкина к брату из Кишинева от 24 сентября 1820 г. – Черта личного характера.*

Одно событие в жизни, удалившее Пушкина из Петербурга на другой конец империи, ускорило развитие его как поэта. В промежуток времени с 1820 по 1826 год, проведенный им сперва в Кишиневе, потом в Одессе и, наконец, в псковской своей деревне, он понял как важность своего призвания, так и размеры собственного таланта. В это время положено было основание многим произведениям творческого его гения, которые и доселе еще не оценены вполне отечественной нашей критикой. Поводом к удалению Пушкина из Петербурга были его собственная неосмотрительность, заносчивость в мнениях и поступках, которые вовсе не лежали в сущности его характера, но привились к нему по легкомыслию молодости и потому, что проходили тогда почти без осуждения. Этот недостаток общества, нам уже, к счастью, неизвестный, должен был проявиться сильнее в натуре восприимчивой и пламенной, какова была Пушкина. Не раз переступал он черту, у которой остановился бы всякий более рассудительный человек, и скоро дошел до края той пропасти, в которую бы упал непременно, если б его не удержали снисходительность и попечительность самого начальства. Говорят, что наказание, ожидавшее Пушкина за грехи его молодости, было смягчено ходатайством и порукой Н. М. Карамзина. Пушкин был переведен на службу из министерства иностранных дел в канцелярию главного попечителя колонистов Южного края генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова, благороднейшего старца, прямотуше, честность и доброта которого остались в памяти всех его знавших. 5 мая 1820 года Пушкин получил из места своего прежнего служения вид для свободного проезда к новой должности и отправился вслед за сим. Попечительный комитет о колонистах Южного края России находился тогда в Екатеринославле. Почти в одно время с прибытием Пушкина генерал Инзов назначен был исправляющим должность полномочного наместника Бессарабской области, причем и самый комитет о колонистах переведен в Кишинев – главный город области. Генерал Инзов говорил, что и новое назначение, и вновь определенный чиновник равно озаботили его и заставили не раз призадуматься о своих обязанностях.

Вскоре после приезда в Екатеринославль Пушкин заболел лихорадкой, может быть, предшественницей той болезни, которая уже посетила его раз в Петербурге, за два года пред тем, но тогда он лежал в недуге окруженный своим семейством и даже утешаемый шалостями своих друзей вместе с их заботами (см. стихотворение «Выздоровление»); теперь было совсем другое дело. Оставшись единственно на попечении своего начальника, занятого делами службы, отнимавшими все его время, и лишенный, по условиям самого края, хороших медицинских пособий, Пушкин боролся с недугом почти одинокий. К счастью, в то же время проезжал через Екатеринославль по дороге к Кавказу генерал Р[аевский], один из героев 1812 года, с двумя сыновьями своими, и принял больного на свое попечение. Крепкая организация Пушкина быстро возвращала утерянные силы, как только ослабляло влияние на нее душевной или

телесной болезни<sup>47</sup>. Он вскоре мог следовать за генералом Раевским на Кавказские минеральные воды, на что, по ходатайству последнего, согласился и начальник Пушкина. Семейство Р[аевского] избрало путь чрез Землю донских казаков, и благодаря деятельной жизни, дружбе и нравственному довольству, с ней неразлучному, Пушкин быстро поправился. В июне того же года он послал в Петербург известный эпилог «Руслана и Людмилы»<sup>48</sup>; единственным признаком тяжелой болезни поэта осталась только бритая голова. Он долго ходил потом в молдавской феске или красной ермолке, что, между прочим, позднее, в Кишиневе, принято было за уловку суетного желания казаться оригинальным и поставилось ему в упрек, подобно тому как и Онегин не избег осуждения за свой наряд. Вот одна неизданная строфа романа:

Носил он русскую рубашку,  
Платок шелковый кушаком,  
Армяк татарский нараспашку  
И шапку с белым козырьком;  
Но только сим убором чудным,  
Безнравственным и безрассудным,  
Была весьма огорчена  
Его соседка Дурина,  
А с ней Мизинчиков. Евгений,  
Быть может, толки презирал,  
Быть может, и про них не знал;  
Но всех своих обыкновений  
Не изменил в угоду им:  
За то был ближним нестерпим.

<sup>47</sup> Выписываем здесь из журнала «Русский вестник» (1841, № 1) любопытную статью доктора Рудыковского, встретившего Пушкина в Екатеринославле. «Встреча с Пушкиным. (Из записок медика) Оставив Киев 19 мая 1820 года, я, в качестве доктора, отправился с генералом Р[аевским] на Кавказ. С ним ехали две дочери и два сына, один – полковник гвардии, другой – капитан. Едва я, по приезде в Екатеринославль, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала: «Доктор! Я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь – поспешите со мною!» Нечего делать – пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на дощатом диване, сидит молодой человек – небритый, бледный и худой. – Вы нездоровы? – спросил я незнакомца. – Да, доктор, немножко пошалил, купался: кажется, простудился. Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе пред ним лежала бумага. – Чем вы тут занимаетесь? – Пишу стихи. «Нашел, – думал я, – и время, и место». Посоветовавши ему на ночь выпить чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня. Мы остановились в доме губернатора К[арагеорги]. Поутру гляжу – больной уж у нас: говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Р[аевским] по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт. – Доктор, дайте что-нибудь получше, – дряни в рот не возьму. Что будешь делать? Прописал слабую микстуру. На рецепте нужно написать кому. Спрашиваю: «Пушкин». Фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного и на другой день закатил ему хины. Пушкин морщится. Мы поехали далее. На Дону мы обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался: покушал бланманже и снова заболел. – Доктор, помогите! – Пушкин, слушайте! – Буду, буду! Опять микстура, опять пароксизмы и гримасы. – Не ходите, не ездите без шинели. – Жарко, мочи нет. – Лучше жарко, чем лихорадка. – Нет, лучше уж лихорадка. Опять сильные пароксизмы. – Доктор, я болен. – Потому что упрямый. Слушайте! – Буду, буду! И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы. По прибытии генерала в город тамошний комендант к нему явился и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен на дворе, с хохотом что-то писал, но ничего и не подозревал. Книгу и список отослал к коменданту. На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору Ц..., который был при минеральных водах. – Вы лейб-медик? приехали с генералом [Раевским]? – Последнее справедливо, но я не лейб-медик. – Как не лейб-медик? Вы так записаны в книге коменданта; бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия. Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, смотрю: там в свите генерала вписаны – две его дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин. Насилу убедил я коменданта все это исправить, доказывая, что я не лейб-медик и что Пушкин не недоросль, а титулярный советник, выпущенный с этим чином из Царскосельского лицея. Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шутку. Пушкин немного на меня подулся, а вскоре мы расстались. Возвратясь в Киев, я прочитал «Руслана и Людмилу» и охотно простил Пушкину его шалость». Рудыковский.

<sup>48</sup> Эпилог «Руслана» вместе с добавлениями к шестой его песни напечатаны в «Сын отечества» 1820 года, № XXXVIII. Первый после имени Пушкина имел еще пометку: «26 июня 1820. Кавказ».

Кавказ поразил пламенное воображение Пушкина. Вот что писал он 9 лет спустя, при вторичном посещении Георгиевска и Горячих вод:

«В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте: это снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска заехал я на Горячие воды. Здесь я нашел большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекались с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд; я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Р[аевский], прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...»

С Кавказских вод Пушкин отправился Землею черноморских казаков в Крым. Он ехал по Кубани, обок с воинственными и всегда опасными племенами черкесов. Устьлабинская крепость, станица черноморцев Екатеринодар, были наполнены свежими воспоминаниями их набегов и геройских подвигов казаков. Путешественников наших во многих местах сопровождал конвой с заряженной пушкой, и Пушкин радовался военной обстановке своего вояжа, любовался казаками, шумом и говором, сопровождавшим переезд его. Поэма, связанная с Кавказом и бытом его обитателей, уже тогда представлялась его воображению, но он кончил ее только в феврале следующего 1821 года и уже в Киевской губернии, как увидим после. Он успевал только наслаждаться приливом новых, доселе неизвестных ему чувств. В Тамани он увидел впервые южное море, а вскоре и роскошные берега Крыма, о которых так часто и в таких чудных стихах вспоминал потом. Разница между обычными впечатлениями городской жизни и впечатлениями пребывания на Кавказе и самого путешествия была неизмерима. Вседневные удовольствия столицы не имели ничего общего со всем этим движением, с разнообразием картин, встречаемых на каждом шагу, с трудами дня, крепящими тело, и отдыхами, еще исполненными поэтических впечатлений. С изменением природы и внешней обстановки изменилось в нем и течение мыслей. Сам Пушкин оставил нам драгоценную заметку о внутреннем своем повороте в стихотворении «Погасло дневное светило...», которым он приветствовал Черное море. Пьеса эта, написанная в сентябре 1820 года, названа была им впоследствии «Подражание Байрону»<sup>49</sup>.

Холодные, хотя и блестящие, образы обычных спутниц всякой молодости, которыми занималась муза Пушкина до 1819 года, теперь совсем пропадают, и место их заступают образы антологических его стихотворений, полные жизни и чувства. Нельзя не согласиться, что большая часть их навеяна чтением Андрея Шенье, но есть между обоими поэтами и существенная разница. Пушкин сокращает представления Шенье, когда берет его за образец, и дает своим переделкам меру и изящество, не всегда сохраняемые подлинником. Качества эти еще сильнее выступают в собственных его созданиях, и тогда к аттической грации очертаний присоединяется у него тонкий психологический анализ. Таковы стихотворения «Нереида», «Дорида», «Дориде» и проч., написанные в это время. Мы имеем полное право сказать, что красота

---

<sup>49</sup> В тетради, с которой печатались «Стихотворения» 1826 года и о которой мы уже говорили, пьеса названа была просто «Черное море». Пушкин зачеркнул заглавие и написал вместо него «Подражание Байрону».

формы, гармония внешних линий были первым навеянием классической Тавриды, первым ее подарком поэту-странствователю.

Переехав пролив, Пушкин очутился в Керчи. Известно его письмо, заключающее в себе беглое описание путешествия по Южному берегу Крыма. Оно помещено теперь в примечаниях к «Бахчисарайскому фонтану», но прежде напечатано было отдельно в «Северных цветах» на 1826 (год) под заглавием «Отрывок из письма А. С. Пушкина к Д\*». Письмо было вызвано появлением в 1823 году новой книги<sup>50</sup>, но начало его, по желанию самого Пушкина, не попало в печать. Прилагаем его здесь вместе с разбором самого документа, который может подать повод к любопытным соображениям.

«Путешествие по Тавриде» прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. М.<sup>51</sup>. Очень сожалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для доверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? Различие наших впечатлений – посуди сам».

Затем Пушкин излагает довольно равнодушно впечатления, доставленные ему видом Митридатовой гробницы, где он сорвал цветок и потерял его без всякого сожаления на другой день; упоминает о развалинах Пантикапеи как о груде кирпичей со следами улиц и бывшего рва. Из Феодосии он ехал морем до Юрзуфа,<sup>52</sup> бедной татарской деревни. Картина ночного моря не дала ему спать до рассвета. На Чатыр-Даг, показываемый ему капитаном, он взглянул равнодушно; но когда, проснувшись под самым Юрзуфом, увидел берег с его зеленью, тополями, разноцветными его горами, огромным Аю-Дагом, – равнодушие поэта пропало, и несколько жарких строк письма оканчивают параграф, начатый совсем в другом тоне.

В Юрзуфе он обедался виноградом; ухаживал с любовью за кипарисом, который рос в двух шагах от его дома; прислушивался к шуму моря по целым часам, и все это, прибавляет он, с равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzaroni.<sup>53</sup>

Но есть другое письмо Пушкина, которое излагает впечатления тогдашней жизни живее и, может быть, откровеннее.

«Корабль плыл, – говорит Пушкин, – перед горами, покрытыми тополями, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа, где находилось семейство Р[аевских]. Там прожил я три недели. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства Р[аевского]. Я не видел в нем героя, славу русского войска; я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 1812 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества... Суди, был я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, которую я так люблю и которую никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море... Друг мой! Любимая моя мечта – увидеть опять полуденный берег и семейство Р[аевского]»<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Путешествие по Тавриде в 1820 г., соч. Муравьева-Апостола. 1823 г., С.-Пб.

<sup>51</sup> Иван Матвеевич Муравьев.

<sup>52</sup> Старое название Гурзуфа. – Прим. ред.

<sup>53</sup> Нищего (ит.).

<sup>54</sup> Материалы наши для биографии Пушкина были уже окончательно составлены, когда мы получили это письмо Пушкина вполне. Из него оказывается, что оно писано было к Льву Сергеевичу Пушкину из Кишинева, от 24 сентября 1820 года. Так как вместе с тем оно содержит автобиографическое подтверждение всего сказанного нами о пребывании поэта на Кавказе и в Крыму, то и прилагаем его целиком: «Милый брат, я виноват перед твоею дружбою. Постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды. Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал покататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу

Как превосходно отразилась в этом задушевном письме натура Пушкина, всегда жаждавшая привязанности и наслаждений дружбы! Но будем следить далее за напечатанным письмом. От Юрзуфа Пушкин начинает объезд Южного берега Крыма и передает его подробности в том же полуравнодушном-полудовольном духе. Переход по скалам Кикениса оставил в нем только забавное воспоминание о подъеме на гору, причем путешественники держались за хвосты татарских лошадей. Георгиевский монастырь с его крутой лестницей к морю произвел в нем, однако же, сильное впечатление, а баснословные развалины храма Дианы переродили его даже в слепого почитателя народных преданий. Они вызвали известные стихи:

К чему холодные сомненья?  
Я верю: здесь был грозный храм,  
Где крови жаждущим богам  
Дымились жертвоприношенья...

«Видно, – замечает Пушкин, – мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических». Бахчисарай был особенно несчастлив. Пушкин прибыл туда опять больной лихорадкой и едва посмотрел на ржавую трубку знаменитого фонтана, из которой капала вода. В развалины гарема и на Ханское кладбище его повели уже почти насильно, но вскоре

---

тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к кавказским водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня на счастливый путь; я лег в коляску больной, через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе; воды были мне очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие; впрочем, купался в теплых кислосерных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в далеком расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Дикие черкесы напуганы, древняя дерзость их исчезает; дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносящая никакой пользы России, скоро сблизит нас с персианами безопасною торговлею. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы; любовался нашими казаками. За нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала... Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. Когда-нибудь прочту тебе мои замечания об черноморских и донских казаках; теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Тамани, древнего Тмутараканского княжества открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я. На ближней горе, посреди кладбища, увидел я груды камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дела рук человеческих. Гроб ли это, древние ли основания башни – не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, – вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Какой-то француз приехал для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений. Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Вроневского, человека почетного по непорочной службе и по бедности. Он, подобно старику Виргилию, разводит сад на берегу моря, недалеко от города: виноград и миндаль составляют его доход. Он имеет большие сведения о Крыме, стране важной и запущенной. Отсюда отправились мы морем, мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе присылаю; отошли ее к Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисом; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа; там прожил я три недели, мой друг. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть; старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море! Друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии. По крайней мере, пиши ко мне. Благодарю тебя за стихи, более благодарил бы за прозу. Ради бога, почитай поэзию доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками, но влюбиться в нее – безрассудно... Прости, мой друг, обнимаю тебя. Уведомь меня об наших; все ли они еще в деревне. Мне деньги нужны, нужны! Прости. Обними же за меня К[юхельбекера] и Дельвига. Видишь ли ты иногда молодого Молчанова? Пиши же мне обо всей братии». Элегия, написанная Пушкиным на корабле, есть, по всем вероятностям, стихотворение «Погасло дневное светило...», о котором уже упоминали.

после этого осмотра он написал увлекательное стихотворение, где те же предметы являются совсем в другом свете:

Фонтан любви, фонтан живой!  
Принес я в дар тебе две розы.  
Люблю немолчный говор твой  
И поэтические слезы!..

Окончание письма, не попавшее в печать, как и начало его, по требованию – как мы уже сказали – самого Пушкина, содержит в себе неожиданное опровержение всех предшествующих уверений в равнодушии. Вот оно:

«Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные с таким равнодушием? Или воспоминание – самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему...?»

Таким образом, Пушкин выказывается здесь со всем жаром своей души, со всею своею впечатлительностью и вместе с какой-то осторожностью в передаче чувства. Он вообще любил закрывать себя и мысль свою шуткой или таким оборотом речи, который еще оставляет возможность сомнения для слушателей: вот почему весьма мало людей знали Пушкина, что называется, лицом к лицу.

## Глава VI

### Кишинев, поездки, «Кавказский пленник», отдельные стихотворения. 1820–1823 гг.

*Кишинев. – Поездка в Киев на свадьбу М. Ф. Орлова, пребывание в деревне Давыдовых, Каменке, где в феврале 1821 г. кончен «Кавказский пленник». – В мае 1821 г. Пушкин в Одессе. – Доходы Пушкина от поэм, анекдот о Гнедиче. – Стихотворение «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...» и письмо к Дельвигу. – Пушкин основывается в Кишиневе. – О переписке Пушкина с друзьями. – Картина Кишинева. – Временные отлучки Пушкина из Кишинева, история происхождения стихотворений «Кто знает край...», «Под небом голубым...», «О, если правда, что в ночи...», «Для берегов отчизны...». – Стихи «Гречанке» и «Иностранке». – Пушкин в обществе. – Пушкин в литературных отношениях, заботливость его о своих произведениях, «Полярная звезда». – Кишиневская жизнь, Пушкин и Инзов, склонность к резвой шутке у первого и добродушная строгость последнего. – Напомновения помнить важность своего призвания. – Письмо неизвестного на французском языке и ответ на него: «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел...». – Мелкие стихотворения, написанные в Кишиневе. – Сильная поэтическая деятельность и возрастающая крепость гения. – Появление стихотворений «К Чадаеву», «Наполеон», «Овидию» и проч. – Поездка в Измаил за цыганским табором и стихотворение «За их ленивыми толпами...». – Замечания о думах Рылеева. – «Братья разбойники» и первая строфа «Онегина». – Стихотворение «Воспомянем упоенный...».*

В сентябре месяце 1820 г. Александр Сергеевич является впервые в Кишинев, но в конце того же года мы находим его в Киевской губернии, в деревне одного из своих знакомых, где написана была пьеса «Редет облаков летучая гряда...», с пометкою «Каменка». Он уже собирал там свои воспоминания и писал поэму «Кавказский пленник», в которой сохранил живые впечатления недавно совершенного им объезда. Начало 1821 года застало его уже в самом Киеве, как свидетельствует стихотворение «Морской берег», под которым выставлено в оригинале: «8 февраля 1821. Киев». Мы знаем, что в это время генерал Р[аевский], под покровительством которого состоял Пушкин, праздновал в Киеве семейную свою радость. Пушкин скоро возвращается опять в поименованную нами деревню и 20 февраля кончает там «Кавказского пленника». Посвящение поэмы Н. Н. Р[аевскому] и эпилог к ней написаны гораздо позднее (в мае месяце) и уже в Одессе. В 1822 году поэма явилась в печати. Петербургские книгопродавцы предлагали весьма скудную сумму за право издания ее, которое окончательно было приобретено переводчиком «Илиады» Н. И. Гнедичем. Пушкин получил один печатный экземпляр поэмы и 500 руб. ассиг. Он был весьма недоволен таким скудным вознаграждением за поэтический труд свой и долго вспоминал об этом с досадой<sup>55</sup>. О впечатлении, которое произвела поэма на читающую публику, будем говорить впоследствии.

В начале весны 1821 года Пушкин снова является в Кишинев вместе с одним из высших военных чиновников, М. Ф. О[рловым], прибывшим к месту своего служебного назначения в Бессарабию тоже из Киева. Генерал Иван Никитич Инзов принял Пушкина в собственный свой дом, где последний и оставался до 1822 года. Пушкин переехал после того в дом одного из своих друзей, Н. С. Алексеева, и жил там до самого отправления своего в Одессу. Вот что

<sup>55</sup> «Руслан и Людмила» тоже не принесли автору почти ничего, но второе издание двух первых поэм его уже куплено Смирдиным за 7 тысяч рублей ассигнациями. Кстати будет сообщить здесь анекдот о Н. И. Гнедиче, который был одним из первых и самых жарких поклонников зарождающейся славы Пушкина. По прочтении стихов «Бахчисарайского фонтана» Твои пленительные очия яснее дня, чернее ночи будущий переводчик «Илиады», один глаз которого, как известно, был поражен давней болезнью, говорил шутя, что готов за них отдать и последнее свое око.

писал Пушкин от 23 марта 1821 года к Дельвигу в Петербург, вскоре после своего новоселья, но уже собираясь опять на временную поездку в Одессу, куда через два месяца и прибыл действительно, как мы видели:

«Друг Дельвиг, мой парнасский брат,  
Твоей я прозой был утешен;  
Но признаюсь, барон, я грешен:  
Стихам я больше был бы рад...  
Ты знаешь: я в минувши годы,  
У берегов кастальских вод  
Любил мартать поэмы, оды,  
Ревнивый зрел меня народ  
На кукольном театре моды;  
Поклонник правды и (свободы),  
Бывало, что ни напишу,  
Все для иных не Русью пахнет;  
Теперь я, право, чуть дышу,  
От воздержанья муза чахнет  
И редко, редко с ней грешу.  
К молве болтливой я хладею  
И из учтивости одной  
Доныне волочусь за нею,  
Как муж ленивый за женой.  
Наскуча муз бесплодной службой,  
Другой богиней, тихой дружбой  
Я славы заменил кумир.  
Но все люблю, мои поэты,  
Фантазии волшебный мир  
И, чуждым пламенем согретый,  
Внимаю звуки ваших лир...

Жалею, Дельвиг, что до меня дошло только одно из твоих писем, именно то, которое мне доставлено любезным Гнедичем вместе с девственной «Людмилою». Ты не довольно говоришь о себе и об друзьях наших. О путешествиях К[юхельбекера] слышал я уж в Киеве. В твоём отсутствии сердце напоминало о тебе; об твоей музе – журналы. Ты все тот же – талант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе шалить; долго ли тебе разменивать свой гений на серебряные четвертаки. Напиши поэму славную, только не четыре части дня и не четыре времени года – напиши своего «Монаха». Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая – твой истинный удел; умертви в себе ветхого человека – не убивай вдохновенного поэта. Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму «Кавказский пленник», которую надеюсь скоро вам прислать, – ты ею не совсем будешь доволен, и будешь прав. Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы – но что теперь ничего не пишу; я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?

Недавно приехал в Кишинев и скоро оставляю благословенную Бессарабию; есть страны благословеннее. Праздный мир не самое лучшее состояние жизни, даже и Скарментадо,

кажется, неправ<sup>56</sup>. Самого лучшего состояния нет на свете; но разнообразие спасительно для души.

Друг мой, есть у меня до тебя просьба – узнай, напиши мне, что делается с братом. Ты его любишь, потому что меня любишь. Он человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа. Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим: другого воспитания нет для существа, одаренного душою. Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца. В этом найдут выгоду; но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями – не только по африканской нашей крови. Прощай».

С этого письма начинается литературная переписка Пушкина с друзьями, оставленными им в Петербурге, продолжавшаяся вплоть до 1826 года – времени появления поэта нашего в Москве. Дельвиг, брат Пушкина Лев Сергеевич, П. А. Плетнев и несколько других лиц были поверенными как его дел, так и его мыслей и суждений об отечественной и иностранных литературах. Из этого источника, насколько он нам доступен, будем мы впоследствии приводить черты наиболее яркие; теперь же скажем, что, судя даже по немногим образцам, какие находятся в руках наших, переписка Пушкина с друзьями своими обнимала почти все почему-либо замечательные явления русской жизни и русской словесности.

Город Кишинев представлял в ту эпоху картину чрезвычайно оживленную. Некоторое время по присоединении к империи Бессарабской области последняя была, по замечанию старожилов, сборищем самых разнородных национальностей, театром удивительного смешения костюмов, языков, нравов и физиономий. Восстание греков наполнило город значительным количеством греческих и молдавских фамилий, искавших убежища от турок или просто от политических смут своей родины. Присутствие их сообщило сильный восточный оттенок Кишиневу и придало сношениям между туземцами и новыми обладателями страны особенный характер, в котором европейская образованность и чуждые ей привычки смешивались весьма оригинально и живописно. Вместе с тем таможенная и карантинная линии, находившиеся тогда еще по Днестру, не защищали Бессарабию и от искателей приключений всех стран – от выходцев французских и итальянских и проч. Значительное число офицеров Генерального штаба, людей вообще умных и образованных, занимавшихся съемкою планов новоприобретенной местности, увеличивало интерес общей картины, в которой немаловажную часть должен еще занимать штаб 16-й пехотной дивизии, постоянно пребывавший в Кишиневе. Пушкин жил в обществе своих военных соотечественников и, говорят, довольно забавно сердился на их военную прислугу, плохо слушающую его приказания и обносившую его за обедами. Пестрота, шум, разнообразие тогдашнего Кишинева произвели довольно сильное впечатление на Пушкина: он полюбил город.

Частые отлучки Пушкина из Кишинева еще освежали для него удовольствия полуазиатского и полуюропейского общества. В этих отлучках, а может быть, и в сношениях своих с пестрым и разнохарактерным населением его, Пушкин встретил то загадочное для нас лицо или те загадочные лица, к которым в разные эпохи своей жизни обращал песни, исполненные нежного воспоминания, ослабевшего потом, но сохранившего способность восставать при случае с новой и большей силой. Кто не знает этих чистых созданий его лиры – «Под небом голубым страны своей родной...» (1825), «О, если правда, что в ночи...» (1828), «Для берегов отчизны дальной...» (1830)?<sup>57</sup> Мы еще возвратимся к ним, а здесь заметим, что от пребы-

<sup>56</sup> См. Вольтера: «Histoire des voyages de Scarmentado». («История путешествий Скарментадо» (фр.)).

<sup>57</sup> Спешим сказать, что со всеми этими стихотворениями не имеет ничего общего одно стихотворение Пушкина, где тоже говорится о юге Европы, об Италии, и всем ее чудесам противопоставляется вдохновенный образ женщины, любящейся ими. Стихотворение это, начинающееся стихами «Кто знает край, где небо блещет...», написано в 1827 году, а сделалось известно только в 1838-м, уже после смерти автора. В рукописи оно носит двойной эпиграф, в следующем виде: сперва написано Пушкиным «Kennst du das Land...» «Vilh. Meist.» («Ты знаешь ли тот край...» «Вильгельм Мейстер» (нем.)), вслед за тем прибавлено «По клюкву, по клюкву, По ягоду, по клюкву...» Эпиграф, кажется, объясняется известным в свое время анекдотом: одна молодая русская путешественница после долгого пребывания за границей сказала, что по возвращении на родину

вания его в Кишиневе осталось еще воспоминание в двух стихотворениях: «Гречанке» («Ты рождена воспламенять...») и «Иностранке» («На языке, тебе невнятном...»). О первой Пушкин сберег заметку в записках своих, где назвал ее «прелестной гречанкой». Иностранка, имя которой тоже не сохранилось у нас на Руси, замечательна еще особенной характеристической подробностью, касающеюся Пушкина. После двухлетнего знакомства она узнала, что Пушкин – поэт, только по стихотворению «На языке, тебе невнятном...», вписанному в ее альбом уже при расставании. «Что это значит?» – спросила она у Пушкина. «Покажите это за границей любому русскому, и он вам скажет!» – отвечал Пушкин.

Действительно, никто так не боялся, особенно в обществе, своего звания поэта, как Пушкин, о чем мы будем еще говорить подробнее. Он искал в нем успехов совсем другого рода. По меткому выражению одного из самых близких к нему людей, «предметы его увлечения могли меняться, но страсть оставалась при нем одна и та же». И он вносил страсть во все свои привязанности и почти во все сношения с людьми. Самый разговор его в спокойном состоянии духа ничем не отличался от разговора всякого образованного человека, но делался блестящим и неудержимым потоком, как только прикасался к какой-нибудь струне его сердца или к мысли, глубоко его занимавшей. Брат Пушкина утверждает, что беседа его в подобных случаях была замечательна почти не менее его поэзии. Особенно перед слушательницами любил он расточать всю гибкость своего ума, всё богатство своей природы. Он называл это, на обыкновенном насмешливом языке своем, «кокетничаньем с женщинами». Вот почему, несмотря на известную небрежность его костюма, на неправильные, хотя и энергические черты лица, Пушкин вселял так много привязанности в сердцах, оставлял так много неизгладимых воспоминаний в душе...

Но там, где дело шло о литературе, и в сношениях с литераторами не было человека строже и взыскательнее Пушкина. Он со вниманием прочитывал все, что писали об нем свои и иностранные журналы. Надо видеть из его переписки степень негодования, какое испытал он, когда известная его пьеса «Редет облаков летучая гряда...» напечатана была в «Полярной звезде» 1824 года с тремя последними стихами, исключенными автором в рукописи своей. Он просто говорит, что его осрамили, и прибавляет: «Я давно уже не сержусь за опечатки, но в старину мне случалось забалтываться стихами и мне грустно, что со мною поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности». Несправедливо было и уверение, что он не сердится за опечатки. В 1825 году писал он в Петербург: «Надоела мне печать опечатками, критиками, защищениями etc. Однако поэмы мои скоро выйдут. И они мне надоели. Руслан – молокосос; Пленник – зелен, и пред поэзией кавказской природы поэма моя – голиковская проза»<sup>58</sup>. Еще сильнейший пример оскорбленного авторского чувства подал Пушкин, когда в той же «Полярной звезде» 1824 года в стихотворении «Нереида» вместо стиха

Над ясной влагою полубогиня грудь...

было напечатано:

Как ясной влагою полубогиня грудь...,

---

весьма обрадовалась клюкве. Пушкин намеревался выразить в стихотворении каприз красавицы, но отделал только поэтическую часть пьесы, соответствующую эпитафии из «В[ильгельма] Мейстера», и не приступил даже ко второй ее половине... Пародия, мы увидим, не была в его таланте и часто принимала у него серьезные, вдохновенные звуки, ей несвойственные.

<sup>58</sup> Продолжение этой выдержки из письма от 3 декабря 1825 г. тоже прилагаем здесь: «Кстати: кто писал о горцах в «Пчеле»? Какая поэзия! Я[кубович] ли герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним был на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметьева. В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде – поэма моя была бы еще лучше. Важная вещь! Я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать: робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я ни читал о романтизме – все не то». Последние слова Пушкина мы объясняем далее в наших материалах.

а в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые мечты...» стих, начинающийся «С боязнью и мольбой...», был заменен «С болезнью и мольбой...». Пушкин тотчас же переслал обе пьесы в другой журнал («Литературные листки», 1824, № IV), прося редактора о перепечатании: «Вы очень меня обяжете, – говорил он, – если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в «Полярной звезде», отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди. Свидетельствую вам искреннее почтение. Одесса. 1 февраля 1824». Замечательно, что Пушкин не достиг своей цели. В «Литературных листках» последняя пьеса помещена была с пропусками против редакции альманаха, но такова была взыскательность поэта в отношении своих произведений, и так он дорожил ими вообще.

Шумная жизнь Кишинева не могла обойтись без хлопот. Природная живость Пушкина, быстрота и едкость его ответов, откровенное удалство нажили ему много врагов и иногда, по справедливости, возбуждали жалобы. Генерал Иван Никитич Инзов отрывался от важных занятий, чтоб устраивать дела ветреного своего чиновника. Он разбирал его ссоры с молдаванами; взыскивал за излишне резвые проделки; наказывал домашним арестом; приставлял часовых к его комнате и посылал пленнику книги и журналы для развлечения. Пушкин любил Инзова, как отца. О тогдашних шалостях кишиневской молодежи сохранилось в городе некоторое воспоминание и до сих пор<sup>59</sup>. Заметим, что остроумная проказа всегда имела особенную прелесть для Пушкина даже и в позднейшие года жизни. Об этой склонности к замысловатой шутке упоминает и он сам в неизданных строфах «Домика в Коломне».

Но одни увлечения страсти, одни выходки живого ума, даже одни вспышки поэтического гения, несмотря на все их значение, еще не могли составить окончательную форму жизни для человека, столь наделенного природой, как Пушкин. Не для того готовился он сам, не того хотели почитатели его таланта, беспрестанно требовавшие от него деятельности и предрекавшие ему славную будущность в отечестве. Такие вызовы сопровождали все молодые его года. Из этих заботливых напоминовений, которые Пушкин получал со всех сторон вплоть до 1830 года, самое замечательное нам кажется то, выписку которого приводим здесь в переводе. Оно написано было по-французски и уцелело в его бумагах. Только к Пушкину можно было обращаться с подобными требованиями, только с Пушкиным можно было так говорить. Вот этот отрывок:

«Когда видишь того, кто должен покорять сердца людей, раболепствующего перед обычаями и привычками толпы, человек останавливается посреди пути и спрашивает самого себя: почему преграждает мне дорогу тот, который впереди меня и которому следовало бы сделаться моим вожатаем. Подобная мысль приходит мне в голову, когда я думаю об вас, а думаю я об вас много, даже до усталости. Позвольте же мне идти, сделайте милость. Если некогда вам узнавать требования наши, углубитесь в самого себя и в собственной груди почерпните огонь, который, несомненно, присутствует в каждой такой душе, как ваша»<sup>60</sup>.

Поэма «Бахчисарайский фонтан», задуманная в 1821 году, конченная в следующем и напечатанная в Москве в 1824 году, связана еще с Тавридой по своим воспоминаниям. О про-

---

<sup>59</sup> Так, брат поэта рассказывает в своей записке, что однажды, оскорбясь замечанием одной женщины, он потребовал отчета у мужа ее и на нем выместил обиду. Много и других анекдотов от этой эпохи можно было бы собрать. Раз, заметив привычку одной дамы сбрасывать с ног башмаки за столом, он осторожно похитил их и привел в большое замешательство красивую владелицу их, которая выпуталась из дела однако ж с великим присутствием духа, и проч., и проч.

<sup>60</sup> Может быть, на это письмо Пушкин отвечал стихами, первый оригинал которых, весьма несовершенный, разумеется, остался в его бумагах: Ты прав, мой друг, – напрасно я презрел Дары природы благосклонной; Я знал досуг, беспечных муз удел. И наслажденье ленью сонной. \* \* \* Я дружбу знал и жизни молодой Ей отдал ветренные годы. Я верил ей за чашей круговой В часы веселий и свободы. \* \* \* Младых бесед оставя блеск и шум. Я знал и труд и вдохновенье. И сладостно мне было жарких дум Уединенное волненье!

исхождении ее мы будем говорить после. Обращаясь к стихотворениям, написанным в Бессарабии, мы легко увидим, как быстро рос поэтический гений Пушкина. 6 апреля 1821 года написано было послание «К Ч[аадаеву]» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...»), которое по твердости кисти, меткости эпитетов и простоте поэтического языка есть первообраз знаменитого послания «Вельможе» («От северных оков освобождая мир...»). 18 июля 1821 года получено было в Кишиневе известие о смерти Наполеона и породило ту превосходную лирическую песнь, которая посвящена его имени. Декабря 26-го 1821 года создано было стихотворение, порожденное другим именем, – «Овидию». Пушкин считал его лучшим своим произведением в то время и предпочитал «Наполеону». Небольшое предисловие к нему и исторические заметки свидетельствуют, что Пушкин приготовлялся к нему чтением римского поэта. Между тем один за другим следовали те художественно спокойные образы, в которых уже очень полно отражается артистическая натура Пушкина: «Дионея», «Дева», «Муза» («В младенчестве моем она меня любила...»), «Желание» («Кто видел край...»), «Умолкну скоро я...», «М. А. Г[олицыной]». В последних двух глубокое чувство выразилось в удивительно величавой и спокойной форме, которая так поражает и в пьесе «Приметы» («Старайся наблюдать различные приметы...»), этом образце сельской картины, где впервые проявилось чувство природы, так сильно развитое у него впоследствии. В 1822 году написана была «Песнь о вещем Олеге», которая при появлении своем немногими была оценена по достоинству. Ее летописная простота, ее безыскусственный рассказ, так свойственный легенде, были новостью и слишком резко отличались от кудрявых и замысловатых исторических стихотворений эпохи, которые не всегда отличались и исторической верностью<sup>61</sup>. В том же году Пушкин на несколько дней пропал из Кишинева. Он отправился в Измаил и на пути пристал к цыганскому табору, ночевал в шатрах его и жил дикой жизнью кочевого племени. Он сохранил воспоминание об этом путешествии в следующей строфе эпилога к «Цыганам», не попавшей в печать:

За их ленивыми толпами  
 В пустынях, праздный, я бродил;  
 Простую пищу их делил  
 И засыпал пред их огнями...  
 В походах медленных любил  
 Их песней радостные гулы;  
 И долго милой Мариулы  
 Я имя нежное твердил.

<sup>61</sup> Так, например, в одной современной думе Олегов щит имеет герб России. Пушкин заметил несообразность и писал: «Древний герб, св. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега. Новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во времена Иоанна III, не прежде. Летопись просто говорит: «тоже повеси щит свой на вратах на показание победы». Он вообще отзывался об исторических стихотворениях той эпохи довольно строго: «Вообще все слабы изобретением и изложением. Все на один покрой (*loci topici*) (общие места (*лат.*) – *Прим. ред.*): описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального русского нет в них ничего, кроме имен... «Милый мой, – пишет Пушкин к брату из Кишинева по поводу тех же стихотворений, – у вас пишут, что «луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого». Это не Х[востов] написал – вот что меня огорчило. Что делает Дельвиг? Чего он смотрит?» Через несколько времени Пушкин возвращается еще на свои заметки в новом письме к брату: «Душа моя, – говорит он, – как перевесть по-русски *bévués* (оплошности, промахи. (*фр.*) – *Прим. ред.*). Должно бы издавать у нас журнал «*Revue des bévués*» («Обозрение промахов» (*фр.*) – *прим. ред.*). Мы поместили бы там выписки из критик В[оейко]ва, полудневную денницу, герб российский на вратах византийских (во время Олега герба русского не было: двуглавый орел есть герб византийский и означает разделение империи на восточную и западную...). Поверишь, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб не найти с десяток этих *bévués*. Поговори об этом с нашими, да похлопочи о книгах...». В другой раз он останавливается на стихотворении «Олимпийские игры», напечатанном в «Мнемозине» (1826, т. IV), и снова пишет к брату: «Читал стихи и прозы К[юхельбекера] – что за чудак! Только в его голову могла войти мысль воспевать Грецию, великолепную Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом – славянорусскими стихами... Что бы сказал Гомер и Пиндар? Но что говорят Дельвиг и Баратынский?» Мы видим, что близкое знакомство не мешало Пушкину замечать погрешности приятелей, но он не всегда их высказывал начисто.

Пушкин доходил тогда до самых границ империи. У нас есть один стихотворный отрывок, свидетельствующий это несомненно и потому драгоценный:

Вспоминаньем упоенный,  
С благоговеньем и тоской  
Объемлю грозный мрамор твой,  
Кагула памятник надменный!  
Не смелый подвиг россиян,  
Не слава, дар Екатерине,  
Не задунайский великан  
Меня воспаляют ныне...

Отлучки Пушкина из Кишинева не только не мешали вдохновению и занятиям поэзией, а напротив, только возбуждали и множили их. В Бессарабии же написаны были «Братья разбойники» и набросаны первые строфы «Евгения Онегина»... Если представим себе картину литературной деятельности этой в полном ее объеме, то разнообразие ее частей, особенный характер каждой подробности и самобытность некоторых из них приведут невольно в изумление, как приводили они современников Пушкина.

## Глава VII

### Одесса. 1823–1824 гг.

*Переезд в Одессу и потом увольнение от службы. – Письмо к брату от 23 августа 1823 г. с выражением сожаления о покидаемом Кишиневе. – Первая глава «Онегина» кончена 22 октября 1823 г., и зимой 1824 г. начаты «Цыганы». – Лирические стихотворения в сильно возбужденном состоянии духа. – Эстетическое чувство, умеряющее все порывы. – «Демон», его значение. – Письмо к Дельвигу о «Бахчисарайском фонтане» с первым известием об «Онегине». – Стремление собирать книги, изучение итальянского языка. – Итальянские эпитафии к «Кавказскому пленнику», журнал греческой революции. – Пушкин остепеняется. – Стихотворение «К морю» как прощанье с старым байроновским направлением. – Подробности о появлении в печати «Демона» и стихов «К морю».*

28 июля 1823 года генерал Иван Никитич Инзов сдал должность новороссийского генерал-губернатора, которую исправлял с июля 1822 года, новому начальнику, графу М. С. Воронцову, уже славному подвигами в Отечественную и Французскую кампании и который должен был дать новую жизнь краю, вверенному его управлению. Тогда же соединено было в одной власти и управление Бессарабией. Центром правительства сделалась Одесса, куда переехал и Пушкин, зачисленный в канцелярию генерал-губернатора. Некоторое время он скучал по Кишиневу, но пестрое разноплеменное народонаселение Одессы, ее театры, французские рестораны, море, ее омывающее и приносившее толпы иностранцев вместе с товарами и с известиями из Европы, вскоре помирили его с новым местопребыванием. Впрочем, усложнившаяся администрация края требовала особенной деятельности чиновников, в ней числившихся, а Пушкин по роду своих занятий мало был способен к ней. Почти ровно через год, 8 июля 1824 года, уволен он был вовсе от службы, а 11 того же июля переведен на жительство в Псковскую губернию, в имение своей матери, известное Михайловское.

Мы имеем письмо Пушкина из Одессы к брату от 25 августа 1823 года. Из содержания его видно, что Пушкин был в Одессе еще тремя месяцами ранее своего перечисления на службу в этот город, подобно тому как он посетил его два года тому назад. В последний раз, однако же, он узнал о новом своем назначении, вернулся на несколько дней в Кишинев проститься с особами, дорогими его сердцу, и затем уже покинул его совсем. «Мне хочется, душа моя, – говорит он, – написать тебе целый роман – три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело. Здоровье мое давно требовало морских ванн. Я насилу упросил Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем... перехожу на службу и остаюсь в Одессе. Кажется и хорошо, да новая печаль сжала мне грудь. Мне стало жаль моих покинутых (цепей). Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически – и выехал оттуда навсегда. О Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни. Впрочем, я нигде не бываю, кроме театра». Письмо это кончается требованием денег от брата, в которых поэт нуждался почти весь век свой. Весьма оригинально объясняет он причины скудости: «Жить пером мне невозможно (при нынешней цензуре). Ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти, хотя знаю закон (божий) и четыре первые правила...» Он заключает его словами: «Прощай, душа моя, у меня хандра, и это письмо не развеселило меня».

22 октября 1823 г. кончена была в Одессе первая глава «Онегина», начатая в Бессарабии в мае. Осенний месяц тут имеет свое значение. Известно, что осень была временем особенного развития его творческой деятельности вообще. Она приносила ему нравственное спокойствие,

равновесие всех сил, необыкновенную бодрость мысли. На севере он радовался туманной и дождливой осени и боялся сухой и светлой, как предательницы, которая влечет к прогулкам и рассеянности. Южная осень с ее чистым небом и освежительно теплым воздухом заставляла его прибегать к хитрости. Он вставал рано и, не покидая постели, писал несколько часов без отдыха. Приятели заставляли его часто или в задумчивости, или помирающего со смеха над строфами «Евгения Онегина». Так написаны были три главы этого романа, и зимой 1824 г. начаты «Цыганы».

Лирические стихотворения, писанные в Одессе, приобретают новый оттенок. Вместо прежних обдуманных и потому спокойных созданий являются такие, как «Ненастный день потух...», «Простишь ли мне ревнивые мечты...», «Коварность», исполненные бурь сердца, сомнений страсти и сильного драматического движения. Они вылились из-под пера того человека, который в мучениях ревности и досады мог пробежать пять верст без шляпы по палящему жару в 35°, как это раз случилось с Пушкиным в Одессе. Но мы обязаны сделать заметку, весьма важную для определения общего характера его. Как ни великолепен еще этот ураган уязвленного сердца в поэтическом своем направлении, но здесь, как и всегда у Пушкина, порывы его умеряются требованиями искусства и выражение его столь же изящно, как и выражение задумчивости и грациозных образов в других произведениях поэта. Вообще поэтическое творчество было у Пушкина как будто поправкой волнений жизни. Оно сглаживало резкие ее проявления, смягчало и облагораживало все, что было в них случайно грубого, неправильного и жесткого. По неизменному закону отражения творческого произведения на самом художнике, умерялся и в последнем пыл увлечения и замолкали струны, которые звучали бы без того тревожно и несогласно, может быть, еще долгое время. Вот почему Пушкин мог выходить из всех порывов еще свежее прежнего, и вот почему в течение всей его жизни мы не видим, чтобы он остановился на каком-нибудь исключительном направлении и окаменел в каком-нибудь любимом представлении. В Одессе, например, написал он своего «Демона» – этот неопределенный образ существа, произвольно и без права старающегося заслонить божий свет от других. При появлении своем в 1823 году пьеса породила живейший восторг. Один журнал в Москве хотел посвятить ей целую статью, но не сдержал обещание; другой, в Петербурге, называя произведение гениальным, искал объяснения ему в действительном существовании подобного характера. Но всего замечательнее, что Пушкин истощил всю идею в одном произведении и более к ней уже не возвращался, несмотря на общие похвалы<sup>62</sup>. Так из произведения, относительно превосходного, вышел он не в подчиненности к нему, а, напротив, с другим и более обширным взглядом на мир – процесс беспрестанно повторяющийся и оправдывающий мнение тех людей, которые поэзию Пушкина считают по преимуществу существенною, реальною, приносящею с собою бодрость для духа и свежесть для мысли.

К этой же эпохе относится возникшее стремление Пушкина собирать книги, которое заставило его сказать так живописно, что он походит на стекольника, разоряющегося на

<sup>62</sup> Можно заметить последний отголосок идеи, породившей «Демона» в стихотворении, принадлежащем к 1827 г. «Ангел» («В дверях эдема ангел нежный...»); но здесь уже представление смягчается под действием жизни и, может быть, личного опыта. Кстати, прилагаем письмо Пушкина из Одессы к Дельвигу, замечательное, между прочим, и тем, что тут впервые упоминает он о «Ев. Онегине»: «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейского – слава и благодарение за то тебе и моему П[ушину]! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка? Душа моя, ты слишком мало пишешь, по крайней мере, слишком мало печатаешь. Впрочем, я живу по-азиатски, не читая ваших журналов. На днях попались мне твои прелестные сонеты, прочел их с жадностью, восхищением и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского. Жду и не дожусь ваших стихов, только их получу, заколю агнца и украшу цветами свой шалаш, хоть Б[ируков] находит это слишком сладострастным... Ты просишь «Бахчисарайского фонтана». Он на днях отослан Вяземскому: это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожурить и все-таки похвалишь. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя. Б[ируков] ее не увидит за то, что он фи – дитя, блажное дитя. Бог знает, когда и мы прочтем ее вместе. Скучно, моя радость. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу. Где он? Что он? Ничего не знаю... Правда ли, что к вам едет Россини и итальянская опера? Боже мой! Умру с тоски и зависти. 16 ноября. Вели прислать мне немецкого «Пленника».

покупку необходимых ему алмазов. Большая часть его денег уходила этим путем, и превосходная библиотека, оставленная им после смерти, свидетельствует теперь о разнообразии и основательности его чтения. Пушкин успел выучиться на юге по-английски и по-итальянски и много читал на обоих языках. «Кавказский пленник» украшен в рукописи эпитафией из Пиндемонте<sup>63</sup> и немецким: «Gieb meine Jugend mir zurück...»<sup>64</sup> из Гёте. Кроме своих обычных занятий, он еще следил за ходом греческого возрождения, которому вел журнал, и мысль его была в постоянной деятельности даже и тогда, как жаркие лирические произведения свидетельствовали о самом возбужденном состоянии его духа. К концу пребывания поэта в Одессе знакомые его заметили некоторую осторожность в суждениях, осмотрительность в принятии мнений. Первый пыл молодости пропал: Пушкину было уже 25 лет.

В начале осени 1824 года Пушкин простился с южным краем России чудным своим стихотворением «К морю»:

Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой<sup>65</sup>.

Этим же стихотворением прощался он и с властителем своих дум – Байроном, посвящая ему, на расставанье, последнюю дань удивления, последнюю свою песнь. Другое направление, другое развитие ожидали его в Михайловском.

---

<sup>63</sup> Oh felice que mai non pose il piedeFuori della natia sua dolce terra;Egli il cor non lascid fitto in oggetti,Che di piu riveder non ha speranza, etc.«О, счастлив, кто никогда не переступал за границу священной земли собственного отечества: сердце его не привязано к предметам, которых нет ему надежды увидеть снова». Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, замечает, что вместе с итальянским языком сын его учился и по-испански.

<sup>64</sup> «Верни мне мою молодость...» (нем.).

<sup>65</sup> Стихотворение «К морю» напечатано было впервые в альманахе «Мнемозина» (1824 г., Москва, часть IV) и сопровождалось любопытным примечанием издателей. При стихе «Мир опустел», который в альманахе не имел окончания, сделана выноска: «В сем месте автор поставил три с половиною строки точек. Издателям сие стихотворение доставлено кн. П. А. Вяземским и здесь отпечатано точно в том виде, в каком оно вышло из-под пера самого Пушкина. Некоторые списки оно, ходящие по городу, искажены нелепыми прибавлениями. Изд.» Видно, что и эта пьеса не избежала участи многих других стихотворений поэта. Между прочим, она вошла в состав изданий 1826 г. и 1829 г. с некоторыми изменениями, несмотря на то, что в альманахе печаталась с пушкинского подлинника. (См. примечания наши к стихотворению.) Кстати скажем, что в том же альманахе-журнале «Мнемозина», только в III части (1824 г.), помещено было и стихотворение «Демон», но с такими ошибками, что Пушкин перепечатал его в «Северных цветах» и писал к брату из деревни: «Не стыдно ли К[юхле] напечатать ошибочно моего «Демона»! Моего «Демона»!.. Не давать ему за то ни «Моря», ни капли стихов от меня...». Однако же «Море» было дано: поэт, видно, умилился над приятелем.

## Глава VIII

### Обозрение поэм Пушкина, созданных с 1821 по 1824 г.

*«Кавказский пленник», два письма Пушкина о недостатках поэмы. – Неизданные стихи из предисловия поэмы. – Стихотворения «Демон», «Я пережил свои желанья...» как части однородного созерцанья. – Журнальная критика. – Известия о стихотворении «Мстислава древний поединок...» и о поэме «Владимир». – Журнальная прищепка к стихам его. – «Бахчисарайский фонтан». – Влияние Байрона и значение его в жизни поэта вообще. – Сочувствие Пушкина к А. Шенье и малое расположение к Ламартину. – Происхождение «Бахчисарайского фонтана» объясняет господствующий тон в поэме. – Письмо Пушкина к Бестужеву с жалобой на самовольную припечатку выпущенных стихов и с разбором произведений, помещенных в «Полярной звезде» 1824 г. – Стихотворение «Печален будет мой рассказ...» – Отсутствие изнеженности в стихе поэмы. – Издание ее. – Почему «Кавказский пленник» не мог быть издан своевременно во второй раз. – Предисловие кн. Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» и полемика, возгоревшаяся по поводу его. – Письмо Пушкина в редакцию «Сына отечества» с заявлением своего сочувствия к мыслям кн. Вяземского о романтизме. – Прения о классицизме и романтизме. – «Мнемозина» кн. Одоевского об элегиях. – Сбивчивость понятий. – Пушкин принужден толковать свои создания. – Его объяснения «Песни о вещем Олеге», 1-й главы «Онегина», опровержение мысли, что в стихах стихи не главное. – Заметка Пушкина о Жуковском. – Отношения Пушкина к обеим враждующим партиям. – Как понимал Пушкин классицизм и романтизм в собственной мысли. – Слова его об этом предмете и различие произведений по форме. – Неспособность его к теоретическим тонкостям. – Пушкин часто разумеет под романтизмом творчество и творческое создание. – Идеи Пушкина о классической трагедии. – Суждение Пушкина о переводе «Федры» Лобановым и о Расине вообще из письма 1825 года. – «Братья разбойники». – Стихотворения «Сон» и «Два путника» как части новой поэмы «Вадим».*

Остановимся здесь на минуту и сделаем несколько замечаний на все поэмы, созданные Пушкиным в этот четырехлетний промежуток времени, столь обильный разнородными впечатлениями, столь плодотворный в литературном отношении. Любопытно видеть тайну их происхождения, значение, которое придавала им публика, и критические убеждения самого автора, вызванные толками и суждениями об них.

Поэма «Кавказский пленник» была первым опытом Пушкина создать характер, и опытом, как известно, не вполне удачным. Замечательно, что первый, открывший это, был сам Пушкин. Вот что писал он издателю поэмы в то время, как едва успели остыть чернила на его рукописи: «Недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Простота плана близко подходит к бедности изобретения, описание нравов черкесских не связано с происшествием и есть не иное что, как географическая статья или отчет путешественника. Характер главного лица (а всего-то их двое) приличен более роману, нежели поэме, да и что за характер? Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастиях, неизвестных читателю? Его бездействие, его равнодушие к дикой жестокости горцев и к прелестям кавказской девы могут быть очень естественны, но что тут трогательного? Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собой истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником его избавительницы; мать, отец и братья ее могли бы иметь каждый свою роль, свой характер – всем этим я пренебрег: во-первых, от лени; во-вторых, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, как обе части поэмы были уже кончены, а сяз-

нова начинать не имел я духа... Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», но, признаюсь, люблю его, не зная за что: в нем есть стихи моего сердца...»<sup>66</sup>.

Другое письмо Пушкина о том же предмете к одному из друзей, В. П. Г[орчако]ву, не менее замечательно в своей простодушной откровенности:

«Замечания твои, моя радость, очень справедливы и слишком снисходительны. Зачем не утопился мой Пленник вслед за Черкешенкой? Как человек, он поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразумия требуется. Характер Пленника неудачен; это доказывает, что я не гоюсь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19 века. Конечно, поэму приличнее было бы назвать «Черкешенкой» – я об этом не подумал.

Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но все это ни с чем не связано и есть истинный *hors d'oeuvre*.<sup>67</sup> Вообще я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже «Руслана» – хоть стихи в ней зрелее. Прощай, моя радость»<sup>68</sup>.

Любопытно следить за самыми усилиями Пушкина пояснить характер, еще смутно представлявшийся его воображению. Эти следы работающей фантазии, эта борьба с образом, беспрестанно исчезающим под рукой, особенно поучительны в будущем образцовом писателе. Надо сказать, что само посвящение поэмы еще составляет как будто ее продолжение по тону и разработке своей. В нем та же мысль и тот же образ, только приложенный к самому автору. Вот стихи из посвящения, не попавшие в печать, но порожденные именно стремлением автора овладеть поэтическим призраком и дать ему жизнь и форму. Они приложены были самим Пушкиным в Письме к Г[орчако]ву, приведенном выше:

Когда я погибал безвинный, безотрадный  
И шепот клеветы внимал со всех сторон,  
Когда кинжал измены хладный,  
Когда любви тяжелый сон  
Меня терзали и мертвили, —  
Я близ тебя...

\* \* \*

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем,  
Я жертва клеветы и мстительных невежд;  
Но сердце укрепив надеждой и терпеньем...

Переходя к рукописи, мы видим то же самое усилие овладеть характером Пленника. После стиха «В увядшем сердце заключил» Пушкин начинает ближе всматриваться в физиологию героя, но бросает труд на четвертом стихе...

Четверостишие это, разумеется, и не попало в печать:

Когда роскошных дев веселья  
Младыми розами венчал —

---

<sup>66</sup> С чернового письма к Н. И. Гнедичу, оставшегося в бумагах Пушкина.

<sup>67</sup> Закуска (фр.).

<sup>68</sup> Есть еще и третья заметка Пушкина о «Кавказском пленнике» в письме его к брату из Кишинева от 6 октября 1823 года. «Скажи мне, милый мой, шумит ли мой «Пленник»? Надеюсь, что критики не оставят в покое характера Пленника: он для них создан. Душа моя! я журналов не получаю; – так потрудись, напиши их толки, не ради исправления моего, но ради смирения кичливости моей...»

И жар безумного похмелья  
Минутной страсти посвящал;

далее, после стиха «И упоительным мечтам», является новая попытка в том же роде и опять бросается автором на первых четырех стихах:

В те дни, когда луна, дубравы,  
Морей и бури вольный шум,  
Девичий голос, гимны славы  
Еще пленяли жадный ум...

Не нужно и прибавлять, что это четверостишие составило, в превосходном изменении, начальные стихи пьесы «Демон», которая, следовательно, уже является нам осколком неудавшегося образа. Замечательно, что даже известная пьеса:

Я пережил свои желанья,  
Я разлюбил свои мечты —  
Остались мне одни страданья,  
Плоды сердечной пустоты... —

принадлежала целиком поэме, назначаясь, как и все прежние черты, для портрета главного действующего лица. Даже отъятая от нее, она еще носит в рукописи заглавие «Элегия (из поэмы «Кавказ»)». Стольких напряжений, проб кисти, попыток стоил Пушкину первый серьезный характер, на котором он остановил свое внимание.

Недостатки поэмы были так зорко определены самим автором, что критике оставалось только развивать его собственные указания. Это было сделано рецензентом «Сына отечества» (часть LXXXII, 1823), по-видимому, весьма хорошо знавшим мнение Пушкина о своем произведении. В разборе довольно важно для биографии известие, что Пушкин, кроме стихотворения «Мстислава древний поединок...», обещанного в эпилоге самого «Кавказского пленника», пишет еще поэму «Владимир». Посещение Киева должно было оставить свою поэтическую заметку в жизни Пушкина; но он обманул ожидания. Вместо «Мстиславова поединка» он написал «Песнь о вещем Олеге» и вместо «Владимира» начал драматическую хронику «Борис Годунов».

Величавая картина Кавказа, переданная Пушкиным с такой поэтической верностью и вместе с такой простотой, изумила самих противников его. Они отозвались умеренно о новом произведении... Героизм Черкешенки, не шумный, но удивительно благородный и нежный, привел публику в восторг. Под влиянием всеобщего увлечения критика молчала. Дело ограничилось несколькими советами, как изменить характер Пленника для вящей его пользы, и потом указаниями на неправильные выражения. Этот последний отдел критики всегда обращал на себя внимание Пушкина. Он собирал грамматические и синтаксические заметки и часто удостоивал их опровержений, даже в примечаниях к своим поэмам при вторичных изданиях. До 1830 года Пушкин постоянно умалчивал о всех других требованиях критики. Происходило ли это от его непрерывного изучения русской речи или от лукавого желанья показать степень вкуса и познаний у рецензентов — только он составлял для себя коллекцию филологических странностей нашей критики весьма тщательно, хотя далеко не исчерпал своего предмета. Многие были им забыты, многое он оставил без внимания. Так, пропущены были и следующие поправки одного журнала при стихах:

Пред ним пустынные равнины

Лежат зеленой пеленой...

«Пелена употребляется более в отношении к тому, что под нею находится».

Там холмов тянутся грядой  
Однообразные вершины.

«Слова расставлены, кажется, не ясно».

Оделись пеленою туч  
Кавказа спящие вершины...

«Не лучше ли покрылись? Иначе гор не будет видно...» и проч. («Вестник Европы», 1823, № 1).

Семь лет спустя после первого появления «Кавказского пленника» Пушкин сказал про него: «Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно». Это было повторением того, что он говорил о нем на другой день, так сказать, его рождения.

При разборе «Бахчисарайского фонтана», к которому теперь переходим, уже много было толков о влиянии Байрона на нашего поэта. Действительно, лицо Гирея, как и лицо Кавказского Пленника, носит признаки родства с обычными героями Байрона, хотя, при некотором внимании, можно легко заметить, как проглядывает сквозь подражание собственная творческая способность нашего автора, со всеми условиями жизни и местных требований, в которых заключалась. Чуждый облик, невольно положенный на оба характера, объясняется постоянным чтением Байрона, которому предался Пушкин в это время.

Люди, следившие вблизи за постепенным освобождением природного гения в Пушкине, очень хорошо знают, почему так охотно и с такой радостью преклонился он пред британским поэтом. Байрон был указателем пути, открывавшим ему весьма дальнюю дорогу и выведшим его из того французского направления, под которым он находился в первые года своей деятельности. Разумеется, все, что впоследствии говорено было об общей настроенности века, о духе европейских литератур, имело свою долю истины; но ближайшая причина байроновского влияния на Пушкина состояла в том, что он один мог ему представить современный образец творчества. По-немецки Пушкин не читал или читал тяжело; перевес оставался на стороне британского лирика. В нем почерпнул он уважение к образам собственной фантазии, на которые прежде смотрел легко и поверхностно, в нем научился художественному труду и пониманию себя. Байрон вложил могущественный инструмент в его руки: Пушкин извлек им впоследствии из мира поэзии образы, несколько не похожие на любимые представления учителя. После трех лет родственного знакомства направление и приемы Байрона совсем пропадают в Пушкине; остается одна крепость развившегося таланта: обыкновенный результат сношений между истинными поэтами! Нельзя сказать даже, чтобы один Байрон исключительно присутствовал при этом процессе развития художнических сил. Рядом с ним стоял в эту эпоху А. Шенье, которым Пушкин восхищался почти столько же, сколько и первым. Пушкин прежде всех в России заговорил об А. Шенье и, конечно, один из первых в Европе вполне угадал прелесть его нежных произведений, особенно антологических, где обычное щегольство его заменено истинным изяществом. Следует вспомнить, что в шуме, который производили тогда элегии Ламартина, одно это обстоятельство показывает, как мало подчинялся Пушкин вообще шуму, хотя бы он шел издалека. Некоторые из приятелей его печатали и писали ему о Ламартине с жаром убеждения, не находя в нем, однако же, ни малейшего отголоска на все их увлечение. Можно сказать с достоверностью, что очень долгое время Пушкин восхищался у нас произведениями А. Шенье совершенно уединенно. Со всем тем и Байрон, и Шенье играли

одинаковую роль в жизни нашего поэта: это были пометки его собственного, прибывающего таланта; ступени, по которым он восходил к полному проявлению своего гения.

Все оттенки мнений, разделявших литературу нашу, слились при появлении «Бахчисарайского фонтана» в одну похвалу неслыханной еще дотоле гармонии языка, небывалой у нас роскоши стихов и описаний, какими отличалась поэма. В ней видели торжество русского языка, и только дальнейшее развитие автора показало, что русский стих еще более может быть усовершенствован. Критика ограничилась робкой заметкой о недостатке движения, хода в новом создании («Сын отечества», 1824, часть ХСII). Происхождение поэмы достаточно объясняет ее сжатость и почти анекдотическую форму. Пушкин просто переложил в стихи рассказ одной прелестной женщины. В известном письме своем из Тавриды он говорит при первом посещении Бахчисарая: «Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К\*\* поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*».<sup>69</sup> Позднее он писал из Одессы: «Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины:

*Aux douces lois des vers je pliais les accents  
De sa bouche aimable et naïve.*<sup>70</sup>

Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны»<sup>71</sup>. Деньги пришли к Пушкину. Поэма напечатана была в Москве в 1824 году князем Вяземским, и все издание куплено потом обществом книгопродавцев за 3000 р. ассигнациями.

В бумагах Пушкина есть неизданное стихотворение, которое сперва назначено было служить вступлением к поэме. Откинутое при окончательной переправке и совсем забытое впоследствии, оно подтверждает свидетельство письма о происхождении поэмы.

<sup>69</sup> Фонтаном слез (фр.).

<sup>70</sup> К нежным законам стиха я приносивлял звуки // Ее милых и бесхитростных уст (фр.).

<sup>71</sup> Последние строки Пушкина извлечены из журнала Ф. В. Булгарина «Литературные листки» (1824, № IV), где они помещены были в объявлении о скором выходе поэмы. Они составляли часть большого письма Пушкина к одному из своих друзей, которое здесь приводим вполне. Письмо было получено в Петербурге вскоре после выхода альманаха «Полярная звезда» на 1824 г. и содержит еще беглую оценку произведений, там напечатанных, именно повести «Замок Нейгаузен», статьи Корниловича «Об увеселениях русского двора при Петре I», статьи «Об удовольствиях на море», арабской сказки г-на Сенковского «Витязь буланого коня», мадригала Родзянки «К милой», где были стихи: Вчера, сегодня, беспрестанно Люблю – и мыслю о тебе... и наконец стихотворения Плетнева «Родина». В этом же письме есть в конце намек о новой поэме Пушкина, именно о «Ев. Онегине». «Ты не получил, видно, письма моего. Не стану повторять то, чего довольно и на один раз. О твоей повести в «Полярной звезде» скажу, что она не в пример лучше (т. е. занимательнее) тех, которые были напечатаны в прошлом годе, et c'est beaucoup dire (и это много значит (фр.). – Прим. ред.). Корнилович славный малый и много обещает, но зачем пишет он «для снисходительного внимания», «милостивый государь NN», и ожидает «одобрительной улыбки прекрасного пола» для продолжения любопытных своих трудов? Все это старо, ненужно и слишком пахнет шаликовскою невинностию. Булгарин говорит, что Н. Б[естужев] отличается новостью мыслей, можно бы с большим уважением употреблять слово «мысли». Арабская сказка – прелесть. Между поэтами не вижу Гнедича, – это досадно; нет и Языкова – его жаль. «Вчера люблю и мыслю» поместят со временем в грамматику для примера бессмыслицы. Плетнева «Родина» хороша. Баратынский – чудо, мои пьесы плохи. Радуюсь, что мой «Фонтан» шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины: *Aux douces lois des vers je pliais les accents De sa bouche aimable et naïve*. Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги нужны. Третий пункт и самый нужный с эпиграфом «без церемонии». Ты требуешь от меня десятка пьес, как будто у меня их сотни. Едва ли наберу их и пяток, да и то не забудь моих отношений с (цензурой). Даром у тебя брать денег не стану; к тому же я обещал К[юхельбекеру, которому верно мои стихи нужнее, нежели тебе. Об моей поэме нечего и думать. Если когда-нибудь она будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге. Прощай, поклон Р[ылееву], обними Дельвига, брата и братью». Кстати сказать, чувствительные строки, как называл Пушкин отрывок из этого письма, напечатанный в «Литературных листках», так же точно огорчил Пушкина, при виде их в печати, как прежде опубликование трех стихов в элегии «Редет облаков летучая гряда...». «Вообрази мое отчаяние, – писал он по этому поводу, – когда увидел их напечатанными, – журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотой я беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей... Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов...» В первое время он готов был требовать объяснения, но вскоре предал забвению всю эту нескромность журналистики и даже прибавлял в письме к брату из Одессы от 13 июня 1824 года, чтоб он оставил все дело без внимания, из уважения к самому себе

Печален будет мой рассказ!  
Давно, когда мне в первый раз  
Любви поведали преданье,  
Я в шуме радостном уныл —  
И на минуту позабыл  
Роскошных оргий ликованье.  
Но быстрой, быстрой чередой  
Тогда сменялись впечатленья!  
Веселье – тихую тоской,  
Печаль – восторгом упоенья.

Поэтическая передача рассказа должна была, как легко понять, упустить из вида развитие драмы и только сохранить тон и живость впечатления, которыми поражен был сам поэт-слушатель. И действительно, в поэме существенно одно: стихи и благоухание женского чувства, которым она проникнута от начала до конца. Кстати заметить, что поэма сперва называлась «Гаремом», но «меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы), – говорит автор в записках своих, – соблазнил меня». Этот эпиграф, еще находившийся при втором издании поэмы в 1827 году, был из Сади: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече»<sup>72</sup>.

По поводу «Бахчисарайского фонтана» остается сделать еще одно замечание. Пушкин был мужествен во всех чувствах своих. Он так же мало способен был к нежничанью и к игре с ощущениями, как, наоборот, легко подчинялся настоящей страсти. Мы знаем, что он советовал людям, близким его сердцу, скорее отделяться от неопределенных томлений души, выходить на прямую дорогу и назначать цель своим стремлениям. То же требование бодрости и силы, которое присуще ему было по натуре, перенес он и на самый язык впоследствии. Всякий согласится, что в «Бахчисарайском фонтане», несмотря на всю его негу, нет ничего изнеженного, вымученного и слабосильного. По случаю перемены одного прилагательного в стихе, казавшегося слишком смелым, Пушкин писал к издателю: «Я не люблю видеть в гордом первобытном языке следы европейского жеманства и французской утонченности; сила и простота более пристали ему: проповедую из внутреннего убеждения, а по привычке – пишу иначе»<sup>73</sup>. Впоследствии он советовал учиться русскому языку у старых московских барынь, которые никогда не заменяют энергических фраз «я была в девках», «лечилась» и т. п. жеманными фразами «я была в девицах», «меня пользовал» и проч. В записках своих он насмешливо советует русским литераторам прислушиваться даже к разговору московских просвирень. Пушкин не замедлил сам представить образцы сжатого и сильного русского слова, которого искал уже с начала своего поприща.

Нельзя обойти молчанием полемики, возбужденной предисловием кн. Вяземского к поэме. Статья кн. Вяземского под названием «Вместо предисловия. Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова», помещенная перед поэмой, заключала как бы наперед опровержение всех критик классической партии, имевшей тогда еще

---

<sup>72</sup> «Кавказский пленник», появившийся в 1822 году, издавался потом 4 раза: в 1824, 28, 36 гг. и в полном посмертном собрании сочинений в 1838 г. «Бахчисарайский фонтан» имел тоже 4 издания кроме первого, именно: в 1827, 30, 35 гг. и в полном посмертном собрании. В 1824 году появился, между прочим, немецкий перевод «Кавказского пленника», к которому, для сличения, приложен был весь русский подлинник целиком. Библиографы (см. «Роспись книгам из библиотеки Смирдина») считают этот перевод новым изданием «Кавказского пленника», хотя настоящего издания его от автора в 1824 году и не было. Нет сомнения, что немецкий перевод с его «приложениями» сделал невозможным всякую попытку такого рода. Пушкин был огорчен, жаловался на нарушение авторских прав своих и переписывался об этом с друзьями в весьма сердитом расположении духа. Настоящее 2-е издание поэмы напечатано только в 1828 г.

<sup>73</sup> В первом издании поэмы стих «Твоих язвительных лобзаний...» был заменен стихом «Твоих пронзительных лобзаний...»

у нас сильных представителей<sup>74</sup>. Будто предугадывая возражения их, автор статьи говорил, что настоящее движение поэмы находится в речи, в течении ее рассказа; что в описаниях ее есть поэтическая ясность и определенность и что довольно видеть красивое здание, а не разбирать его остов. Существеннейший отдел статьи, однако, состоял в ее взгляде на романтизм. Автор, видимо, полагал его в соблюдении местных красок, *couleur locale*, тогда сильно прославляемом современными французскими эстетиками.

«Отпечаток народности, местности, – говорил издатель поэмы от своего лица в статье, – вот что составляет, может быть, главное, существеннейшее достоинство древних и утверждает их права на внимание потомства. Глубокомысленный Миллер недаром во «Всеобщей истории» своей указал на Катулла в числе источников и упомянул о нем в характеристике того времени». Выслушав замечание антиромантика, что таким образом, пожалуй, и Омер<sup>75</sup> с Вергилием попадут в романтики, издатель поэмы отвечает еще решительнее: «Назовите их как хотите, но нет сомнения, что Омер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сходства и соотношений с главами романтической школы, нежели с своими холодными рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом». Несколько сжатое изложение сообщило этой мысли, в сущности справедливой, вид софизма, но уже действительный софизм представляло другое положение автора, особенно возбуждавшее распрю. Он говорил именно, что появление романтизма в нашей литературе связывается с Ломоносовым, который брал свои образцы у германцев, отчего поэзия романтическая нам должна быть так же сродна, как поэзия Ломоносова или Хераскова. По поводу всех этих положений, выраженных весьма остроумно и отчасти резко, возгорелся сильный спор. «Вестник Европы» (1824, № IV и VIII) напечатал другой разговор, уже между Классиком и Издателем «Бахчисарайского фонтана», где сильно опровергал теоретические афоризмы последнего, а автор разбираемой статьи возражал ему в «Дамском журнале» с энергией и ловкостью, которые еще у многих свежи в памяти. Границы нашей биографии не позволяют рассказать весь ход этой борьбы, весьма любопытной, которая держала в напряженном внимании всю публику, еще занимавшуюся тогда явлениями отечественной словесности, и вовлекла наконец в полемику самого Пушкина<sup>76</sup>. Вот что писал он из Одессы в журнал «Сын отечества» (1824, № XVIII), откуда извлекаем прилагаемый документ:

«В течение последних четырех лет мне случалось быть предметом журнальных замечаний. Часто несправедливые, часто непристойные, иные не заслуживали никакого внимания, на другие издали отвечать было невозможно. Оправдания оскорбленного авторского самолюбия не могли быть занимательны для публики; я молча предполагал исправить в новом издании

---

<sup>74</sup> В самом заглавии статьи, написанной вообще очень остроумно, заключался колкий намек. Чтобы понять его, надо вспомнить о многочисленных псевдонимах во вкусе Жуи, появлявшихся тогда беспрестанно в журналах. Критики большею частью скрывались под фирмами «жителей Бутырской слободы», «Тентелевой деревни», «Галерной гавани», «Лужницких старцев» и проч. Страницы повременных изданий испещрены именами Вередиковых, Ферулиных, Аристотелидовых и проч. Это был век псевдонимов, никого, впрочем, не скрывавших.

<sup>75</sup> Гомер. – Прим. ред.

<sup>76</sup> Кстати сказать, что смелость произвольных, хотя иногда и блестящих положений была тогда в моде, как убедится всякий, кто проследит за лучшими обзорами литературы, писанными в ту эпоху, и за возбужденной ими полемикой. Мы представили один довольно резкий образчик ее в мнении «Вестника Европы» о «Руслане и Людмиле». Из того же журнала выбираем и другой. В 1823 году «Черная шаль» Пушкина, первоначально названная им «Молдавскую песню», положена была на музыку и, под именем кантаты, исполнялась в московском театре. Журнал, отдавая отчет о новом произведении, сильно упрекал композитора (г-на Верстовского) за то, что он расточил так много музыкального таланта на темное злодеяние каких-то неизвестных людей, молдаван, армян. «Достойно ли это того, – спрашивает критик, – чтобы искусный композитор изыскивал средства потрясать сердца слушателей», и что он будет делать, когда представится ему изображение «исторических и мифологических лиц, занимательных для каждого?» («Вестник Евр[опы]», 1823, № I). Критик смешал важность исторического лица с важностью лица в поэтическом отношении, но этому мнению суждено было возрождаться еще не раз по поводу различных произведений Пушкина.

недостатки, указанные мне каким бы то ни было образом, и с живейшею благодарностию читал изредка лестные похвалы и одобрения, чувствуя, что не одно, довольно слабое, достоинство моих стихотворений давало повод благородному изъявлению снисходительности и дружелюбия.

Ныне нахожусь в необходимости прервать молчание. Князь П. А. Вяземский, предприняв из дружбы ко мне издание «Бахчисарайского фонтана», присоединил к оному «Разговор между Издателем и Антиромантиком», разговор, вероятно, вымышленный: по крайней мере, если между нашими печатными классиками многие силою своих суждений сходятся с Классиком Выборгской стороны, то, кажется, ни один из них не выражается с его остротой и светской вежливостью.

Сей разговор не понравился одному из судей нашей словесности. Он напечатал в 5 № «Вестника Европы» второй разговор между Издателем и Классиком, где, между прочим, прочел я следующее:

«Издатель: Итак, разговор мой вам не нравится? – Классик: Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасном стихотворении Пушкина! Думаю, и сам автор об этом пожалеет».

Автор очень рад, что имеет случай благодарить кн. Вяземского за прекрасный его подарок. «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения.

Не хочу или не имею права жаловаться по другому отношению и с искренним смирением принимаю похвалы (не) известного критика.

*Александр Пушкин.  
Одесса».*

Спор о классицизме и романтизме занесен к нам был из Франции и, кажется, потерял на пути свою серьезную и ученую сторону. Известно, что первое основание для последующих прений положили немцы еще в прошлом столетии сравнительной критикой различных литератур: древних, восточных и староевропейских. Критика эта уже очистила путь двум самостоятельным поэтам Германии – Шиллеру и Гёте; но в других странах, не вполне переданная и оцененная, породила ту литературу подделок, которая еще недавно казалась высшею степенью искусства. К нам перешли только одни определения романтизма из вторых рук, из Франции, а первоначальная работа науки, которая одна и могла объяснить сущность самого дела, была пренебрежена. Отсюда тот недостаток почвы, дельного содержания, какие чувствуются у нас в большей части статей этой эпохи по предмету, разделившему литературу на две враждебные партии. Всего чаще, например, вопрос о романтизме представляется критикам чем-то вроде любопытной новости, почти как известие о неожиданном случае, и так ими и обсуживается. Произвольное понимание его, смотря по случайностям личных впечатлений каждого автора или критика, было уже в порядке вещей. Таким образом иные объясняли его своенравием мысли, скучающей положительными законами искусства, а сущность его определяли смесью «мрачности с сладострастием, быстроты рассказа с неподвижностью действия, пылкости страстей с холодностью характеров» («Вест[ник] Евр[опы]», 1824, № IV). Другие отстаивали право гения и таланта творить наперекор теориям и поясняли новое направление тем высоким наслаждением, «в котором человек, упоенный очаровательным восторгом, не может, не смеет дать отчета самому себе в своих чувствах», и прибавляли: «в неопределенном, неизъяснимом состоянии сердца человеческого заключена и тайна, и причина так называемой романтической поэзии» («Моск[овский] телегр[аф]», 1825, № V). Иные еще полагали, как мы уже видели, истинное содержание романтизма в местных красках и народности, о которой, однако,

никто особенно не распространялся по неимению ясного понятия о самом слове. Мы могли бы представить еще более выписок для подтверждения нашего мнения, но ограничиваемся теми, которые приведены здесь. Текущие явления словесности, требования немедленной оценки еще более затемняли дело. Были у нас романтики, восхищавшиеся эпопеями Хераскова и его подражателей, составившие особый отдел классических романтиков, представителем которых сделался журнал кн. В. Одоевского «Мнемозина», и были такие романтики, которые упрекали В. А. Жуковского за склонность его к поверьям, за мечтательность, неопределенность и туманность его поэзии<sup>77</sup>.

Пушкин весьма остроумно и колко сравнивал последних с ребенком, кусающим грудь своей кормилицы потому только, что у него зубки прорезались. Он сам не мог избавиться от прихотливых толкований собственных друзей и принужден был объяснять смысл своих стихотворений обычным своим поклонникам, приходившим в тупик от неожиданности как содержания, так и приемов их. Подобными объяснениями сопровождалась «Песнь о вещем Олеге», 1-я глава «Онегина» и «Цыганы». О последних мы будем говорить пространнее в своем месте, а здесь только приводим отрывок из письма его, касающийся до песни, в котором Пушкин принужден был растолковать ее значение: «Тебе, кажется, Олег не нравится – напрасно. Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе есть черта трогательного простодушия, да и происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического». К таким комментариям еще должен был прибегать поэт наш даже перед судьями, наиболее шумевшими о романтизме.

Любопытно знать, в каком отношении стоял Пушкин к обоим враждующим сторонам и как понимал литературный спор в глубине собственной мысли. Никто тогда еще и не подозревал, что его произведения вскоре сделают спор этот анахронизмом и заменят оба понятия, соединенные с именами классицизма и романтизма, новым и гораздо высшим понятием творчества и художественности, отыскивающих законы для себя в самих себе. Он понимал сущность дела весьма просто, полагая разницу между обоими родами произведений только в форме их и говоря, что если различать их по духу, то нельзя будет выпутаться из противоречий и насильственных толкований. Вот что писал он для самого себя о вопросе, занимавшем тогда литературу нашу: «Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется означенным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных. Определение самое неточное. Стихотворение может являть все эти признаки, а между тем принадлежать к роду классическому. К сему роду должны относиться те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам или коих образцы они нам оставили. Если же вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух, в котором оно написано, то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Пиндара духом своим, конечно, отличается от оды Анакреона, сатиры Ювенала от сатиры Горация, «Освобожденный Иерусалим» от «Энеиды» – все они, однако ж, принадлежат к роду классическому. Какие же

<sup>77</sup> В журнале «Мнемозина» 1824 года, например, была статья, на которую Пушкин писал свои заметки, как увидим после, и о которой упомянул даже в IV главе своего «Онегина»: «Но тише! слышишь? Критик строгий Повелевает сбросить нам Элегии венки убогой... Статья называлась «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Сочинитель ее принадлежал к романтикам и осуждал элегии вообще и элегии Пушкина в особенности как мелочный род поэзии, не выдерживающий сравнения с парением оды. Мерилом художественного достоинства обоих родов он взял восторг и пришел к заключению, что в оде заключается гораздо более поэзии, чем в элегии. К тому же разряду запутанных мыслей об искусстве принадлежит и та, о которой упоминает в 1825 г. Пушкин в письме к брату из деревни: «У вас ересь. Говорят, что в стихах – стихи не главное. Что же главное? Проза? Должно заранее истребить это гонением, колыями, песнями на голос: «Один сижу я во компании...» и тому подоб. ...». О Жуковском тогда же замечал Пушкин в письме к тому же лицу: «Письмо Жуковского наконец я разобрал. Что за прелесть... его небесная душа. Он святой, хотя родился романтиком, и не греком, а человеком, да каким еще!»

роды стихотворений должно отнести к поэзии романтической? Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими».

Это простое, нехитрое определение обнаруживает вообще малую способность Пушкина к теоретическим тонкостям, что доказал он многими примерами и впоследствии. Чрезвычайно меткий в оценке всякого произведения, даже и своего собственного, он был чужд по природе той тяжелой работы мысли, какую требует отвлеченная теория искусства. Часто не хотел он доискиваться значения идеи, верность которой только чувствовал, и отрывочно бросал ее на бумагу в своих тетрадах. И вот пример.

Пушкина называли романтиком, и он сам себя называл романтиком, но под этим словом в уме его таилось совсем другое понимание. Так, он постоянно употребляет в письмах к друзьям выражение «романтическое произведение», но, видимо, соединяет с ним значение творческого создания, не принадлежащего к какой-либо системе или одностороннему воззрению. Другого выражения для истинной своей мысли он не находил, да, вероятно, и не искал. Всем известное и принятое слово обозначило у него понятие, о котором еще немногие тогда думали. Мы увидим в письмах его о «Борисе Годунове», что под именем романтической трагедии он разумел совершенно свободное проявление творящего духа в области искусства. Так, он беспрестанно пишет: «Я хотел бы написать что-нибудь истинно романтическое». В другой раз, мы уже видели, он говорит: «Важная вещь! я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать – робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма... Сколько я ни читал о романтизме – все не то». За этими простыми заметками можно различить мысль о художественном произведении; но он никогда не разбирал ее, предоставляя выразить вполне только своим созданиям. Действительно, они ясно указали законы, на которых должна основываться истинная теория искусства, и сделали из Пушкина, как уже замечено, настоящего учителя изящного и воспитателя эстетического вкуса в обществе.

Мы видели прежде, что Пушкин в переписке своей с П. А. Катениным отзывался снисходительно как о переводах своего друга, так и о классической трагедии вообще. Со всем тем, это была с его стороны только уступка, вызванная расположением к переводчику и мягкостью его суждений пред всяким дельным трудом. В эпоху пребывания поэта нашего на юге, если идеи его о романтизме выходили уже из разряда существующих тогда идей, то взамен классическая трагедия все еще оставалась для него явлением как бы незаконным и необъяснимым. Только в 1825 году в деревне своей, в Михайловском, за строгим трудом создания хроники «Борис Годунов» и за мыслями, вызванными ею, нашел он, как увидим, настоящее место и классической трагедии в ряду произведений искусства. Годом ранее он еще находился под неотразимым влиянием Байрона и вот что писал брату из Одессы (1824) по поводу нового перевода «Федры», тогда явившегося.

«Читал «Федру» Л[обано]ва. Хотел писать на нее критику, не ради Л[обано]ва, а ради маркиза Расина. Перо вывалилось из руки. И об этом у вас шумят, и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г-на Расина!

Croyez-vous découvrir la trace de ses pas<sup>78</sup>

... Надеешься найти

Тезей жаркий след иль темные пути...

Вот как все переведено. А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характеры «Федры» верх глупости и ничтожности в изобретении. Тезей не что иное, как первый Мольеров рогац; Ипполит – le superbe, le

<sup>78</sup> Полагаете вы отыскать следы его шагов (фр.).

fier Hippolyte et même un pen farouche<sup>79</sup> – Ипполит, суровый скиф... – не что иное, как благовоспитанный мальчик, учтивый и почтительный.

D'un mensonge si noir etc.<sup>80</sup>

Прочти всю эту хваленую тираду – и удостоверишься, что Расин понятия не имел об создании трагического лица. Сравни его с речью молодого любовника Паризины Байроновой: увидишь разницу умов. А Терамен? Аббат и (сводник)

Vous même oï series-vous etc.<sup>81</sup>

Вот глубина глупости!..»

Остается сказать о «Братьях разбойниках», рассказе, основанном на истинном происшествии, случившемся в Екатеринославле в 1820 году. Он составлял отрывок из поэмы, которую Пушкин начал писать в 1822 году и сжег почти тотчас же, как написал, но план которой сохранился в бумагах его в следующей короткой заметке: «Разбойники, история двух братьев, атаман на Волге, купеческое судно, дочь купца». Чуткому слуху Пушкина сейчас открылось, что сознание душегубца слишком сложно, эффектно и потому не в русском духе, хотя картина разбойничьего стана и лицо рассказчика, выступающего из нее, написаны были мастерской кистью. При пересылке отрывка в Петербург для напечатания Пушкин замечал: ««Разбойников» я сжег – и поделом. Один отрывок уцелел в руках у Н[иколая] Раевского. Если звуки харчевня, острог... не испугают нежных ушей читательниц, то напечатай его. Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем». Можно полагать с достоверностью, что из материалов, заготовленных для «Разбойников», вышла впоследствии, в 1825 году, пьеса «Жених», первый образец простонародной русской сказки, написанный уже в Михайловском, куда теперь, вслед за поэтом, и переходим<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Надменный, гордый Ипполит, даже несколько дикий (фр.).

<sup>80</sup> Столь черной ложью и т. д. (фр.).

<sup>81</sup> Где были бы вы сами и т. д. (фр.).

<sup>82</sup> Кроме разобранных нами произведений, к эпохе бессарабско-одесской жизни Пушкина принадлежит еще план поэмы «Вадим» – вскоре уничтоженной, но из которой известны два отрывка: «Сон» (отрывок из новгородской повести «Вадим») и «Два путника». В дополнение к картине литературной деятельности Пушкина прилагаем еще числовые пометки, сохранившиеся в тетрадях его на поэмах. Первая глава «Онегина» кончена 23 октября 1823 года, в Одессе; вторая – 8 декабря того же года и там же; третья начата в Одессе же, 8 февраля 1824 года. В сентябре 1824 года Пушкин находился в Михайловском, и в следующем месяце «Цыганы», еще начатые в Одессе, получили окончательную отделку, которая уже совпадает с первыми сценами «Бориса Годунова».

## Глава IX Михайловское. 1824–1826 гг.

*Прибытие в Михайловское, нравственное перерождение. – Новый отрывок из пьесы, «Опять на родине»: «В разны годы...». – Душевное настроение Пушкина в Михайловском, приезд Языкова в 1826 г. – Стихи Языкова, поясняющие внешнюю жизнь поэта, игра в карты, анекдот в Боровичах. – Образ жизни в деревне. – Сцена Димитрия с Мариной в «Годунове». – Арина Родионовна, ее сказки, обработанные Пушкиным. – «Сказка о царе Салтане», пролог к «Руслану», почерпнутые из михайловских бесед с няней. – Примечание Пушкина к сказкам о царевиче и купце Шелковникове. – Письмо Пушкина 1824 г. к брату о няне. – Тригорское, П. А. Осипова, владелица его. – Мир в ослабевших страстях и жажда славы. – Переписка и ее характер.*

Пушкин приехал в Михайловское в тревожном состоянии духа. Легко угадать причину нравственного беспокойства его, если вспомним, что четверть жизни прошла для Пушкина и должна была переставить точку зрения на людей и разьяснить взгляд на самого себя. Нравственный переворот, неизбежный в таких случаях, оставляет по себе грусть, чувство раскаяния и тоски; но в сильных и благородных натурах, какова была натура Пушкина, это есть только новое побуждение к деятельности к преобразованию себя. В неизданном отрывке известного стихотворения «Опять на родине» Пушкин оставил нам заметку о душевной настроенности своей в эпоху прибытия его в Михайловское. Раз навсегда скажем здесь, что Пушкин постоянно откидывал из поэм и стихотворений своих все, что прямо, без покрова искусства и художественного обмана, напоминало его собственную личность. Предлагаемый отрывок, в своей необработанной форме, трогателен, как истина:

В разны годы  
Под вашу сень, Михайловские рощи,  
Являлся я! Когда вы в первый раз  
Увидели меня, тогда я был  
Веселым юношей. Беспечно, жадно  
Я приступал лишь только к жизни; годы  
Промчались – и вы во мне прияли  
Усталого пришельца! Я еще  
Был молод, но уже судьба  
Меня борьбой неровной истомила;  
Я был ожесточен! В уныньи часто  
Я помышлял о юности моей,  
Утраченной в бесплодных испытаньях,  
О строгости заслуженных упреков,  
О дружбе, заплатившей мне обидой  
За жар души доверчивой и нежной —  
И горькие кипели в сердце чувства!

Дальнейшее пребывание в деревне сгладило резкость ощущения; там он нашел и теплую дружбу, и гармонию душевных сил, и главное: наслаждения творчества, сбереженного целиком благодаря тишине, окружавшей поэта. Одно это обстоятельство примирило бы всякого другого с однообразием деревенской жизни; но как человек, привыкший к движению город-

ского и светского быта, от которого, между прочим, он во всю жизнь отстать не мог, чувство недовольства проглядывает в описаниях этого времени, оставленных им в письмах и в произведениях своих, как, например, в 4-й главе «Онегина», тогда же начатой. Другая сторона его деревенской жизни, украшенная привязанностью окружающих людей и всеми утехами творчества, сознающего свою силу, была и осталась немногим известна.

Пушкин вызвал из Дерпта Н. М. Языкова, тогда еще студента, известным своим стихотворением «Издrevле сладостный союз...». Языков, приехавший в Михайловское вместе с молодым В[ульфom], соседом Александра Сергеевича по деревне, только в 1826 г., оставил нам любопытное описание самой комнаты, где няня, Арина Родионовна, накрывала им на стол обыкновенно:

Вот там обоями худыми  
Где-где прикрытая стена,  
Пол нечиненый, два окна  
И дверь стеклянная меж ними;  
Диван пред образом в углу  
Да пара стульев; стол украшен  
Богатством вин и сельских брашен,  
И ты, пришедшая к столу!

Вообще Пушкин был очень прост во всем, что касалось собственно до внешней обстановки. Одевался он довольно небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей. Иметь простую комнату для литературных занятий было у него даже потребностью таланта и условием производительности. Он не любил картин в своем кабинете, и голая серенькая комната давала ему более вдохновения, чем роскошный кабинет с эстампами, статуями и богатой мебелью, которые обыкновенно развлекали его. Он довольствовался незатейливым помещением в Демутовом трактире, где обыкновенно останавливался в приездах своих в Петербург. Вообще привычки его были просты, но вкусы и наклонности уже не походили на них. Так, поздние обеды в Михайловском были довольно прихотливы, по собственному его свидетельству (4-я глава «Ев. Онегина», стр[офы] XXXVIII–XXXIX), и кроме книг, куда уходили его деньги, был им еще другой исток: это страсть к игре, которой предавался он иногда с необычайным жаром. Карты поглотили много трудов его, унесли добрую часть доходов, полученных им с сочинений, и, случалось, даже брали в залог будущие, еще не родившиеся произведения. В одном отрывке из своих записок он простодушно рассказывает довольно забавный анекдот из своей жизни: «15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате не достало мне 5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1600 рублей. Я расплатился довольно сердито, взял займы 200 рублей и уехал очень недоволен сам собой».

Образ его жизни в деревне чрезвычайно напоминает жизнь Онегина (4-я глава «Ев. Онегина», стр[офы] XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIV). Он также вставал очень рано и тотчас же отправлялся налегке к бегущей под горой речке и купался<sup>83</sup>. Зимой он, как и Онегин, садился в ванну со льдом перед своим завтраком. Разница состояла в том, что везде Пушкин посвящал утро литературным занятиям: созданию и приуготовительным его трудам, чтению, выпискам, планам. Осенью, в эту всегдашнюю эпоху его сильной производительности, он принимал

---

<sup>83</sup> Деревянный дом Михайловского с одним этажом стоит на небольшом косогоре, внизу которого с одной стороны течет река Сороть, впадающая в Великую. Фасад дома обращен задом к реке и лицом к небольшому скверу, сзади которого тянется почти на версту густой парк с цветниками и дорожками.

чрезвычайные меры против рассеянности и вообще красных дней: он или не покидал постели, или не одевался вовсе до обеда. По замечанию одного из его друзей, он и в столицах оставлял до осенней деревенской жизни исполнение всех творческих своих замыслов и в несколько месяцев сырой погоды приводил их к окончанию. Пушкин был, между прочим, неутомимый ходок пешком и много ездил верхом, но во всех его прогулках поэзия неразлучно сопутствовала ему. Сам он рассказывал, что, бродя над озером, тешился тем, что пугал диких уток сладкозвучными строфами своими, а раз, возвращаясь из соседней деревни верхом, обдумал всю превосходную сцену свидания Дмитрия с Мариной в «Годунове». Какое-то обстоятельство помешало ему положить ее на бумагу тотчас же по приезде, а когда он принялся за нее через две недели, многие черты прежней сцены изгладились из памяти его. Он говорил потом друзьям своим, восхищавшимся этой встречей страстного Самозванца с хитрой и гордой Мариной, что первоначальная сцена, совершенно оконченная в уме его, была несравненно выше, несравненно превосходнее той, какую он написал. Так оправдываются стихи его:

На море жизненном, где бури так жестоко  
Преследуют во мгле мой парус одинокий,  
Как он, без отзыва, утешно я пою  
И тайные стихи обдумывать люблю.

Если случалось оставаться ему одному дома без дела и гостей, Пушкин играл двумя шарами на бильярде сам с собой, а длинные зимние вечера проводил в беседах с няней Ариной Родионовной. Он посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения. К несчастью, мы ничего не знаем, что думала няня о стихотворных забавах своего питомца.

Но я плоды моих мечтаний  
И гармонических затей  
Читаю только старой няне,  
Подруге юности моей.

*(Глава 4, «Евгений Онегин»)*

Арина Родионовна была посредницей, как известно, в его сношениях с русским сказочным миром, руководительницей его в узнании поверий, обычаев и самых приемов народа, с какими подходил он к вымыслу и поэзии. Александр Сергеевич отзывался о няне как о последнем своем наставнике и говорил, что этому учителю он много обязан исправлением недостатков своего первоначального французского воспитания. Простонародный рассказ «Жених» остается блестящим результатом этих сношений между поэтом и бывалой старушкой. В тетрадах Пушкина находится семь сказок, бегло записанных со слов няни. Из них три послужили основой для известных сказок Пушкина, писанных им с 1831 года, именно для сказки «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О купце Остолопе и работнике его Балде», да, вероятно, и остальные простонародные рассказы Пушкина вышли из того же источника, хотя оригиналов их мы и не находим в его тетрадах. Для примера, каким образом Пушкин переделывал полученные им материалы, пропуская некоторые подробности, изменяя другие и придумывая совсем новые, укажем на «Царя Салтана». В нем сохранено, например, известие о рождении царевича (Гвидона) и притом, с небольшим изменением, словами самой няни:

Родила царица в ночь  
Не то сына, не то дочь,  
Не мышонка, не лягушку,  
А неведому зверюшку, —

но выпущены 33 брата его и введено новое лицо – царевна Лебедь – совершенно необходимое для красоты и грации рассказа. «Мачеха» Арины Родионовны заменена бабой Баба-рихой, и самые чудеса, разведенные царевичем на своем острове, благодаря Лебеди, расходятся у Пушкина во многом с рассказом няни. Так, у ней был кот: «У моря – лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот, вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет». Этот кот заменен у Пушкина белкой, грызущей золотые орешки и выбрасывающей изумруды вместо зерна, но кот не пропал: он очутился при издании «Руслана и Людмилы» в 1828 году в прологе поэмы:

У Лукоморья дуб зеленый;  
Златая цепь на дубе том:  
И днем, и ночью кот ученый  
Все ходит по цепи кругом:  
Идет направо – песнь заводит,  
Налево – сказку говорит...

Вместе с отсутствием 33-х братьев царевича, брошенных в море, как и он, пропали и все подробности, до них касающиеся, между прочим, и способ, каким царевич узнает после их чудного спасения, что они – его братья. Он просит мать свою напечь лепешек из молока ее груди: первый брат, отведавший лепешку, тотчас же воскликнул: «Ах, братцы, до сих пор не знали мы материнского молока» – и открыл себя. Много еще и других выдумок, созданных или полученных народом, со всей их затейливостью, с признаками особенной деятельности воображения, тщательно занесено Пушкиным в свои тетради. К некоторым он сделал пояснения. В одной сказке баснословного царевича ведут на казнь по проискам мачехи; он хохочет. А чему? Да тому, что передние колеса едут за лошадь, а задние-то за чем? Когда потом этот же царевич вешает купца Шелковника на шелковой виселице, Пушкин приписывает: «Вот куда каламбуры зашли». Трогательное впечатление производят эти рассказы няни, записанные в той же тетради, где и начало романа «Арап Петра Великого», и «Евгений Онегин», и «Цыганы», и много отдельных мыслей, блестящих умом и проникательностью<sup>84</sup>.

<sup>84</sup> Вот что писал сам Пушкин осенью 1824 года из деревни к брату: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда ежу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма. Ах, боже мой! Чуть было не забыл. Вот тебе задача: историческое, сухое известие о Разине...» У нас есть еще весьма любопытный документ о хозяйственных хлопотах Пушкина, когда в 1825 году, по отъезде отца и матери из деревни, он остался один в Михайловском. Документ содержит трогательную черту в отношении Арины Родионовны: «У меня произошла перемена в управлении. Розу Григ[орьевну] я принужден был выслать за [непристойное] поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счета. Она показала мне, что за 2 года (1824 и 1825) ей ничего не платили и считает по 200 р. на год – итого 400 р. По моему счету ей следует наличных денег 300 р. Из оных 100 выдам ей, а 200 перешлю в С.-Петербург. Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей благостыни и заплачено ли что-нибудь в эти два года. Я нарядил комитет из Насилья Архипова и старосты, велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей... покамест я принял бразды правления». Рассказы Арины Родионовны поражают вообще хитростью и запутанностью содержания, которое иногда трудно и разобрать. Тут есть и Иван-царевич, отправляющийся за смертью Коцея Бессмертного, которая живет на море, на Окияне, на острове Буяне, и притом в дубе, а в дубе – дупло, а в дупле – сундук, а в сундуке – заяц, а в зайце – утка, а в утке – яйцо. Иван-царевич голоден, но не трогает ни собаки, ни ястреба, ни волка, ни барана, ни рака, встретившихся ему, а те служат ему за то верную службу; волк перевозит его через море, баран рогами сваливает дуб, собака ловит зайца, ястреб ловит утку, рак приносит яйцо со дна морского. Так еще подмененный царевич делается сыном кузнеца, удивляет народ ранним умом, разгадывает все загадки и выпутывает из беды названного своего отца, когда царь наказывает ему приехать к себе ни верхом, ни пешком, показать ему друга и недруга и поднести дар, которого бы он не взял. Кузнец приезжает на козле, приводит недруга – жену, которая от побоев бранится и убегает, друга – собаку, которая от побой визжит и ласкается, в дар приносит ястреба под блюдом и проч. Изложение Пушкина однако же чрезвычайно бегло и едва дает понятие о самом цвете и физиономии, так сказать, нянинных рассказов.

В двух верстах от Михайловского лежит село Тригорское, известное публике по стихам Н. М. Языкова. Там жило доброе, благородное семейство П. А. О[сипово]й, с которым Пушкин был в постоянных сношениях, любя его образованную и вместе сельски простую жизнь. Он часто там обедал, часто туда заходил в своих прогулках и проводил там целые дни, довольный откровенной дружбой, с какой его встречали, и привязанностью всех членов его. Он посвящал П. А. О[сипово]й свои чудные подражания Корану, написанные, можно сказать, перед ее глазами, и вообще семейство это действовало успокоительно на Пушкина. Он встречал в нем и строгий ум, и расцветающую молодость, и резвость детского возраста. Усталый от увлечений первой эпохи своей жизни, Пушкин находил удовольствие в тихом чувстве и родственной веселости: грациозная гримаса, детская шалость нравились ему и занимали его. Если около этой поры еще встречаются восторженные стансы, как, например, «Я помню чудное мгновение...», то более в виде мгновенного порыва, чем постоянного душевного настроения. Погруженный в свои воспоминания, Пушкин думал о славе и в ней искал успокоения для своего сердца и отмищения за все волнения и утраты его:

.... И ныне  
Я новым для меня желанием томим:  
Желаю славы я, чтоб именем моим  
Твой слух был поражен всечасно; чтоб ты мною  
Окружена была; чтоб громкою молвою  
Все, все вокруг тебя звучало обо мне...

С тех пор действительно началось его постоянное служение славе, хотя цель, выраженная в стихах, давно была утрачена. Непрерывная литературная переписка с друзьями принадлежала к числу любимых и немаловажных занятий Пушкина в это время. Переписка Пушкина особенно драгоценна тем, что ставит, так сказать, читателя лицом к лицу с его мыслию и выказывает всю ее гибкость, оригинальность и блеск, ей свойственный. Эти качества сохраняет она даже и тогда, когда теряет достоинство непреложной истины или возбуждает вопрос. Мы имеем только весьма малую часть переписки Пушкина, но и та принадлежит к важным биографическим материалам.

## Глава X

### Создания этой эпохи: «Онегин», «Цыганы», «Годунов»

*Первая глава «Онегина» (появилась в 1825 г.). – Пролог к ней «Разговор книгопродавца с поэтом», значение его. – Журнальные толки об «Онегине». – «Московский телеграф» 1825 г. – Отзыв «Сына отечества» 1825 г. – Мнение друзей и почитателей. – Пушкин письменно защищает поэму. – Вопрос о том, «что выше – вдохновение или искусство». – Прение Байрона с Воульсом и применение этого спора к русскому спору по поводу «Онегина». – Предчувствие будущего развития идеи романа и письмо Пушкина об этом. – Заметка о Татьяне. – Осуждение эпитета «сатирический», данного роману в предисловии. – Значение романа. – Появление «Горя от ума», письмо Пушкина с критическим разбором комедии. – «Цыганы», отрывок из письма с заметкой о них и об «Онегине». – Появление отрывков «Онегина» в «Северных цветах». – Появление «Цыган» среди других печатных произведений Пушкина. – Требования по поводу «Цыган». – Создание «Бориса Годунова». – Мнение самого Пушкина о «Борисе Годунове». – Около «Бориса Годунова» сосредоточиваются мысли Пушкина о драме. – Французские письма Пушкина о трагедии вообще и о «Борисе Годунове». – План предисловия к «Борису Годунову». – Второе французское письмо с изменившимся взглядом на Байрона и мыслями о сближении с Шекспиром. – Отрывок из предполагавшегося предисловия к драме. – Значение и пример полурусских, полуфранцузских фраз у Пушкина «о Валтер-Скотте». – Намерение написать полную картину Смутного времени. – Примеры сочетания размышления с вдохновением. – Программа письма Татьяны к Онегину. – Программа стихотворения «Наполеон», писанного в Кишиневе. – Программа для встречи Онегина с Татьяной. – Как писал Пушкин первые сцены «Годунова». – Процесс создания сцены Григория с Пименом. – Отступления, рисунки, перерывы в сцене, окончательная отделка сцены Пимена. – Первоначальная форма стихов «Не много лиц мне память сохранила...». – Сцена Пимена в печати в «Московском вестнике» 1827 г. и несбывшиеся ожидания успеха. – Новый взгляд на спор о классицизме и романтизме и на потребности публики. – Письмо по поводу «Бориса Годунова» о требованиях публики. – Замечание о летописях. – Несмотря на холодный прием, Пушкин возвращается к своему труду. – Аристократизм Пушкина, любовь к предкам. – Пять строф из «Моей родословной» в «Отечественных записках» 1846 г. – Значение «Бориса Годунова». – Пушкин отдается от публики и уходит в себя. – Отрывки из французских писем Пушкина касательно его настроения по окончании «Бориса Годунова», он прощается с публикой.*

Первая глава «Онегина» появилась в печати в течение 1825 года, предшествуемая известным прологом «Разговор книгопродавца с поэтом», который был окончен в Михайловском 26 сентября 1824 года и о значении которого весьма мало говорили: так затемнен он был романом, поглотившим все внимание публики и журналистов. А между тем в прологе глубоко и поэтически выражено состояние художника, уединенно творящего свои образы посреди шума и внешних волнений, как вообще любил себе представлять художника сам Пушкин. Вскоре мы увидим, что он усвоил себе теорию творчества, которая проводила резкую черту между художником и бытом, его окружающим. Стихи, которыми он очертил свой идеал поэта, весьма основательно прилагались у нас к самому автору их:

В гармонии соперник мой  
Был шум лесов, иль вихорь буйный,  
Иль иволги напев живой,  
Иль ночью моря гул глухой,

## Иль шепот речки тихоструйной.

Толки о новом романе не замедлили показаться. Журнал, только что основанный тогда в Москве, встретил его похвалами, весьма искренними, но которые не вполне шли к «Онегину» («Московский телеграф», 1825, № 5) по весьма простой причине: угадать в первых чертах «Онегина» всю его физиономию, как она выразилась впоследствии, было бы делом сверхъестественной прозорливости. Предоставляя классикам отыскивать, к какому отделу пиитики принадлежит новый роман Пушкина, рецензент журнала удерживает за собой только право наслаждаться новым торжеством ума человеческого. Что же касается до определения его, то рецензент причисляет роман к тем истинно шуточным поэмам, где веселость сливается с унынием, описание смешного идет рядом с резкой строфой, обнаруживающей сердце человека. Образцы таких поэм представлены были, по его мнению, Байроном и Гёте, и они ничего не имеют общего с легкими поэмами Буало и Попе, которые только смешат. Легко заметить, что и похвальная статья о Пушкине была в сущности, хотя и косвенно, только полемической статьей. Это составляло основной характер журнала... Онегина он понимал очень просто: «шалун с умом, ветреник с сердцем – он знаком нам, мы любим его» – и хотя называл произведение Пушкина национальным, но потому, что в нем «видим свое, слышим свои родные поговорки, смотрим на свои причуды, которых все мы не чужды были некогда». Противники Пушкина отнесли, наоборот, всю главу к чистому подражанию, и притом с оговоркой, которая вообще ставила неизмеримое пространство между способом представлять свои мысли у оригинала и у подражателя его. «Цель Байрона, – говорили они с иронией («Сын отечества», 1825, часть С), – не рассказ, характер его героев – не связь описаний; он описывает предметы не для предметов самих, не для того, чтобы представить ряд картин, но с намерением выразить впечатления их на лицо, выставленное им на сцену. Мысль истинно пиитическая, творческая...» «Онегину» критик отказывал в народности следующими резкими словами: «Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций. И во Франции и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы». Но взамен находил ее в «Руслане и Людмиле»: «Приписывать Пушкину лишнее значит отнимать у него то, что истинно ему принадлежит. В «Руслане и Людмиле» он доказал нам, что может быть поэтом национальным».

Оставляя в стороне мнения журналов, должно сказать, что самые друзья Пушкина, которым было знакомо свойство его останавливаться преимущественно на творческих идеях, находили содержание «Онегина» едва-едва достойным поэтического дарования. Подобно некоторым журналам, глава нового романа казалась им только ошибкой гениального человека, увлеченного чтением Байрона. Они видели в его произведении «чертовское», по их словам, дарование, способное сообщить увлекательность и предмету ничтожному в самом себе. Упорно держались они мнения, что «Онегин» ниже и «Кавказского пленника», и «Бахчисарайского фонтана», и готовы были, как сами утверждали, отстаивать свое мнение, хоть до светопреставления. С какой-то недоверчивостью смотрели они на шутку романа и на веселость, разлитую в нем, в которой не замечали ни малейшей примеси сатиры. Длинные письма размечены были по этому поводу; Пушкин защищался с жаром. «Мне пишут много об «Онегине», – сообщал он одному из своих друзей, – скажи им, что они не правы. Ужели хотят изгнать все легкое и веселое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии? Следственно, должно будет уничтожить и «Orlando furioso»,<sup>85</sup> и «Гудибраса», и «Вер-Вера», и «Рейнеке», и лучшую часть «Душеньки», и сказки Лафонтена, и басни Крылова, и проч. Это немного строго. Картина светской жизни также входит в область поэзии, но довольно...» Особенно затрудняло почитателей Пушкина отсутствие всякой торжественности в новом романе или вдохновения, как говорили они. В нем видели они одну победу искусства, и спор перешел к вопросу: что выше

<sup>85</sup> «Неистового Роланда» (ит.).

– вдохновение или искусство? Пушкин запутался в этом споре, как и следовало ожидать. Он приводил мнение Байрона в известном споре его с Боульсом (Bowles), что человек, мастерски описавший колоду карт, как художник, выше человека, посредственно описывающего деревья, хотя бы их была целая роща; но вскоре почувствовал неловкость примера<sup>86</sup>. По первому замечанию приятелей он отступил от своего мнения и добродушно признался, что он был увлечен в жару полемики. Пушкин, как видно, сам предпочитал вдохновение искусству: «Я бы хотел покривить душой, – писал он, – да не удалось. И Bowles и Байрон в моем споре заврались. У меня есть на то очень дельное опровержение, переписывать скучно...». В другом отрывке письма, который прилагаем, Пушкин уже находится в полном обладании идеей собственного произведения. Если с одной стороны правда, что он в первой главе «Онегина» еще «не ясно различал» даль своего романа, то с другой не менее истинно, что он, по крайней мере, предчувствовал его развитие. Это оказывается из отрывка нашего:

«Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на «Онегина» не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с «Д[он] Жуаном». Никто более меня не уважает «Д[он] Жуана» (первые пять песней; других не читал), но в нем нет ничего общего с «Онегиным». Ты говоришь о сатире англичанина Байрона, и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же. Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня сатира? О ней и помину нет в «Ев. Онегине»... Самое слово сатирический не должно бы находиться в предисловии<sup>87</sup>. Дождись других песен... Ты увидишь, что если уж и сравнивать «Онегина» с «Д[он] Жуаном», то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (gracieuse), Татьяна или Юлия? Первая песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу... 12 марта. Михайловское».

<sup>86</sup> Остроумная и довольно странная полемика Байрона с посредственным поэтом и лицеприятным биографом Попе, Боульсом происходила немного ранее пушкинского спора с приятелями, именно в 1821 году, но там дело шло о вопросе: что выше – изображения ли природы или изображения тленных, искусственных вещей? Байрон держался последнего мнения, и от этого произвольного разделения двух необходимых элементов каждого создания произошел спор, удивляющий теперь богатством ловких и блестящих парадоксов. Боульс говорит, например, что корабль заимствует всю свою поэзию от волн, ветра, солнца и проч., а сам по себе ничего не значит. Байрон, не терпевший поэзии лакистов, на сторону которых склонялся его противник, утверждал, что волны и ветры сами по себе, без поэзии искусственных предметов, еще не могут составить картины. Воду, говорил он, можно видеть и в луже, ветер слышать и в трещинах хлева, а солнцем любоваться и в медной посудине – от этого еще ни вода, ни ветер, ни солнце не сделаются предметами поэтическими. Спор этот можно назвать истинным предшественником того, о котором говорим теперь в биографии. Нет сомнения, что Байрон выдерживал его с удивительным мастерством, изворотливостью и остроумием. Между прочим он говорил, что много есть морей величественнее архипелага, скал выше, красивее Акрополиса и мыса Суниума, мест живописнее Аттики, но более поэтических предметов, благодаря памятникам искусства, возвышающим их достоинство, нет на свете. Он спрашивал потом: «Отыщите Рим, оставьте только Тибр и семь холмов его и заставьте лакистов наших описывать красоту места, спрашиваю: что будет сильнее исполнено поэзии – картина ли их произведений или первый указатель предметов, первый *indicateur d'objets*, попавшийся вам под руку?» (смотри письмо Байрона к Муррау из Равенны от 7 февраля 1821 г.). Переходя к возражению Боульса, который утверждал, что описать деревья достопочтеннее, чем употребить талант на изображение колоды карт, Байрон замечал, что тут есть смешение предметов, но что писатель, умевший сделать поэтический предмет из колоды карт, конечно, выше того, кто вяло описывает деревья, соблюдая, например, только верность и сходство с их внешними признаками. Пушкин обрадовался этой мысли Байрона как благодетельному союзнику в его собственном споре; однако ж она нашла сильный отпор в его приятелях: «Мнение Байрона, – писали они, – тобою приведенное, несправедливо. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не всегда выше своего соперника. У каждого свой дар, своя муза. Майкова «Елисей» прекрасен, но был ли (бы) он таким у Державина – не думаю, несмотря на превосходство таланта его перед талантом Майкова, Державина «Мариамна» никуда не годится. Следует ли из того, что он ниже Озерова? Не согласен и на то, что «Онегин» выше «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника», как творение искусства. Сделай милость, не оправдывая софизмов В[оейковых]: им только дозвоительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя клеплешь и выводешь бог знает что...»

<sup>87</sup> Первая глава «Ев. Онегина» сопровождалась, кроме «Разговора книгопродавца с поэтом», еще вступлением. (О нем и о некоторых приложениях подробнее сказано в примечаниях наших к роману.) Небольшое вступление это, не имевшее никакого оглавления и писанное самим Пушкиным, заключало слова: «Но да будет нам позволено обратить внимание читателя на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов». В том же письме Пушкина, первая половина которого будет нами приведена впоследствии, заключаются еще эти замечательные слова: «Надеюсь, что наконец отдашь справедливость Катенину. Это было бы кстати, благородно, достойно тебя. Ошибаться – и усовершенствовать суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в этом требует душевной силы». Это относилось к критике «Полярной звезды».

Такие-то бури окружали рождение этого детища, которому суждено было пройти, так сказать, рядом с Пушкиным почти через все существование его и выразить взгляд на его современное общество. Основательно сказано было, что роман этот столько же принадлежит поэзии, сколько и истории нашей, как драгоценное свидетельство о нравах, обычаях и понятиях известной эпохи.

При появлении «Онегина» внимание публики было разделено между ним и комедией «Горе от ума», с которой она тогда ознакомилась. Это произведение, одно во всей нашей литературе, соперничало по успеху своему с романом Пушкина и имело одинаковую с ним участь. Оба разошлись по лицу России в бесчисленных применениях к ежедневным случаям, сделались родником пословиц, нравственных сентенций и проч. Суждение Пушкина о комедии Грибоедова чрезвычайно замечательно. Оно опередило несколькими годами всю последующую, весьма основательную, критику, какой подвергнута была комедия, и редко случается, как сейчас увидим, встретить в немногих простых словах так много существенного и вызывающего на размышление:

«(Рылеев) доставит тебе моих «Цыганов»: пожюри моего брата за то, что он не сдержал своего слова – я не хотел, чтоб эта поэма была известна прежде времени; теперь нечего делать – принужден ее напечатать, пока не растаскают ее по клочкам. Слушал Чацкого, но только один раз и не с тем вниманием, коего он достоин. Вот что мельком успел я заметить. Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным, – следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его – характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны. Софья начертана неясно. Молчалин не довольно резко подл: не нужно ли было сделать из него и труса? Старая пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом, мог быть очень забавен. *Les propos du bal*,<sup>88</sup> сплетни, рассказ Репетилова о клубе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принятый, – вот черты истинно комического гения. Теперь вопрос: в комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все это говорит он очень умно, но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого раза знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под. Кстати, что такое Репетилов? В нем 2, 3, 10 характеров. Зачем делать его гадким? Довольно, что он ветрен и глуп с таким простодушием; довольно, чтоб он признавался поминутно в своей глупости, а не в мерзостях. Его смущение чрезвычайно ново на театре; хоть кому из нас не случилось конфузиться, слушая ему подобных кающихся... Между мастерскими чертами этой прелестной комедии недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину прелестна. И так натурально! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов верно не захотел: его воля! О стихах я не говорю – половина должна войти в пословицу. Покажи это Грибоедову: может быть, я в ином ошибся. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту».

---

<sup>88</sup> Бальная болтовня (фр.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.